Лавка забытых иллюзий (сборник)

Автор:
Сергей Литвинов

Лавка забытых иллюзий (сборник)

Сергей Витальевич Литвинов

Представитель выдающегося творческого дуэта Сергей Литвинов в этот раз выступает без ансамбля. Сам. Один. Он рассказывает непридуманные случаи из своей жизни – которые, как часто бывает, интереснее и увлекательнее любого, самого изощренного вымысла. Питаемые ностальгией и любовью, забавные, веселые, поучительные истории происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е и 90-е – годы головокружительных перемен.

Сергей Литвинов

Лавка забытых иллюзий (сборник)

© Литвинов С.В., 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Нашим родителям – Екатерине Игоревне Литвиновой и Виталию Яковлевичу Жила

Лавка забытых вещей

Автобиография

Предисловие

Оглядевшись вокруг, я с удивлением обнаружил, что многие вещи, окружавшие меня с детства, исчезли.

Их заменили совсем другие.

А чаще даже и не заменили совсем. Места, которые они занимали, остались пустыми.

Что я имею в виду?

Вот, допустим, пионерский галстук. Где он? Ау?

Исчез. Растворился. Остался только в памяти, на фотографических снимках, на груди далеких пионеров братской Кубы – родненькие!

Или взять стеклянные бутылки для молока (с жестяными крышечками на макушках).

Или пакеты для того же молока – но в виде пирамидки.

А еще, скажем, авоська.

Пятикопеечная монета (пятак).

Бумажная советская трешка, пятерка, десятка или двадцать пять рублей.

И – счеты (а также логарифмическая линейка и таблицы Брадиса). А еще весы чашечные, с гирьками.

И, конечно, партбилет. И – билет комсомольский. И октябрятская звездочка.

Кое-что, правда, из исчезнувшего советского вновь появляется. Однако это, скорее, макеты. Муляжи. Например, автоматы для газированной воды. Их специально ностальгическими делают. Копируют дизайн прежних. Но раньше мы пили из граненых стаканов. Мыли их самостоятельно. За три копейки – воду с сиропом, за одну – без. И очень странно платить за газированную воду сорок рублей банкнотами вместо трех копеек.

Или, к примеру, диспенсеры (стеклянные конусы для продажи соков): их кто-то взялся продвигать, делать элементами гламура. Но те, изначальные, наши коренные, почвенные диспенсеры – они-то исчезли!

И таких потерянных вещей (я с недавних пор начал собирать их), я насчитал уже как минимум пять десятков.

И каждый предмет имеет свою историю. И – заслуживает своей истории.

А раздел книги, который вы читаете в данный момент? То есть – предисловие?

В советские времена предисловие являлось важной составной частью практически любой книги. Редкий талмуд осмеливались выпустить без введения, в котором пояснялось, зачем автор взялся написать, а издательство – публиковать данное произведение. В иных предисловиях книгу и ее автора объясняли, в других – критиковали, в третьих – поднимали на щит. Маститый писатель рекомендовал письменника начинающего; видный критик истолковывал заблуждения в целом прогрессивного, но мятущегося заграничного современника (вроде Хемингуэя, Ремарка или Камю); марксист-ленинец (рангом не ниже доктора наук) объяснял ошибки и заблуждения почившего патриарха.

Хорошая штука – предисловие. Все тебе разжуют, настроят на нужный лад. А сколько полезного было в них для школьных сочинений! Мы прямо оттуда передували формулировки себе в тетради, в лучшем случае с минимальными правками.

Теперь – все не то. Книжки издает кто хочет и как хочет. Никакого учета и контроля. И никто ничего не боится. И ничего никому из читателей не объясняет. Иной бы книгочей и рад, чтобы ему что-то разъяснили, ан нет – бери и кушай голяком, безо всяких оберток, справок и приправ.

Поэтому в данной книге предисловие – это, скорее, памятник жанру, чем собственно предисловие.

Но раз уж оно есть, пусть будет этот «отдел литературного или научного произведения, содержащий предварительные разъяснения и замечания». (Толковый словарь Ушакова.)

Скажу исключительно в порядке предварительных разъяснений и замечаний, что книга эта хоть и посвящена на первый взгляд вещам – да еще исчезнувшим! – но на самом деле повествует, конечно, о людях.

Обо мне – мальчике, подростке и юноше, настолько далеком от меня нынешнего, что, кажется, он и не я был вовсе. О моих родителях, бабушках и дедушках. О моей сестренке. И конечно, о друзьях. Об одноклассниках, учителях и просто встречных.

Словом, о былых временах. О детстве, отрочестве, юности.

В конце концов, все, что с тобой происходит, когда ты ребенок или подросток, случается впервые. Поэтому ты особенно остро воспринимаешь все чувства: радость, горечь, дружбу, любовь, достижение, открытие.

Все, что бывает потом, это простое повторение.

Разрушка

Сейчас довольно трудно представить, но, когда я был маленьким, в советских городах и поселках еще встречались руины военных времен. Не специально оставленные в назидание потомкам развалины – как не тронут разбомбленный американцами квартал в Дрездене, или до сих пор зияет здание элеватора в Новороссийске. Нет, в моем детстве останки домов торчали потому, что просто руки не дошли снести, убрать, возвести на их месте что-то новое. Шутка ли, со времен Великой Отечественной войны минуло тогда всего пятнадцать-двадцать лет. А сразу после сорок пятого в руинах пребывала вся некогда оккупированная фашистами территория, от Сталинграда до Бреста. Все надо было восстанавливать. Естественно, до чего-то не доходили руки.

Примерно как сегодня – до сих пор ведь встречаются недостроенные здания, что начинали возводить в последние годы советской власти, да забросили. А ведь уже двадцать лет прошло со времен, как власти этой не стало.

В месте, где я жил мальчиком, тоже имелись военные руины. Мы, дети, их называли «разрушкой».

Я всматриваюсь в то далекое прошлое и пытаюсь увидеть себя. Кажется, ничего во мне от него не осталось. Большеголовый мальчик с выгоревшими на солнце волосами и удивленными глазами. У него даже фамилия была не такая, как у меня сейчас, не Литвинов. В детстве я носил фамилию по отцу: Сергей Жила. Как Жила я просуществовал довольно долго, вплоть до окончания школы – когда мама с согласия и одобрения папы для улучшения благозвучности сменила имя троим из нас: себе, мне и моей младшей сестренке Ане (будущей писательнице и моему соавтору).

К слову сказать, в раннем детстве я нисколько не комплексовал по поводу того, что фамилия моя скорее на кличку похожа. Жила и Жила, подумаешь. Никто вокруг даже не смеялся. А пацаны во дворе называли меня Жиликом или Жилкиным. Они, представьте, не фамилию мою переделывали в обидную кличку (что часто у детей бывает). Мальчишки, наоборот, мое родовое имя, звучавшее изначально, как оскорбление, преобразовывали в нечто пристойное.

Дети вообще существа жестокие, но справедливые. Кого-то они прозвищами унижают: Воронова, к примеру, нарекают Вороной – и случается, уместно. Но иных, напротив, возвеличивают. Из того, что звали меня в Авиагородке скорее ласкательно, чем обидно, можно заключить, что ребята дворовые меня любили.

Я же считал, что у меня нормальная украинская фамилия. Даже гордился, что она столь необычна, не чета всяким Петровым и Сергеевым. И вообще фамилия никакого значения не имела, полагал я, потому что мы живем в великом и справедливом Советском Союзе, где равны все нации и народности.

Географически мы проживали на юге СССР: от Украинской ССР в паре сотен километров и от Северного Кавказа в пятистах. Здесь исторически сложилось, что множество самых разных народов в одном котле варилось. Со мной в одном доме жил, к примеру, мальчик по фамилии Бреус. А в классе учился другой: Коля Евстафиади. Не говоря уж об огромном количестве Иваненко, Андрющенко, Матвиенко, которых в общей массе вокруг было больше, чем Ивановых, Матвеевых и Андреевых.

Итак, меня зовут Сережа Жила, я проживаю с мамой и папой неподалеку от города Ростова-на-Дону в военном городке за бетонным забором, который называется Авиагородок. И мой почтовый адрес (свое местожительство должны были знать все дети) звучит так: Авиагородок, ДОС номер пятнадцать, квартира девятнадцать. Улиц у нас в Авиагородке не было. И ДОС в адресе это не ошибка. Именно не дом, а ДОС, что означало: «дом офицерского состава». Были и другие ДОСы. Помню, например, длинный полутемный коридор. И по обе его стороны – двери. И пахнет керосином. Это тоже ДОС, соседний, только там квартиры коммунальные. Мы раньше тоже жили в нем, но потом воинская часть дала нам квартиру отдельную.

Вообще все, что было связано с армией: часть, командование, погоны, звездочки – пользовалось у нас, пацанов, огромной популярностью. Помню спор двух мальчишек – не скажу точно, но, возможно, одним из них был я:

– А я тебя – старше!

– Ха! А я вообще старшина!

– Старшина! Подумаешь! Я лейтенант!

– Лейтенант? Пфу! А я майор!

– А я – полковник!

– А я – генерал!

– Что твой генерал?! Я – маршал!

– А я! Я!.. Я – маршал Малиновский![1 - Родион Яковлевич Малиновский (10 (22) ноября 1898, Одесса – 31 марта 1967, Москва) – советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза, с 1957 по 1967 год – министр обороны СССР.]

После этого крыть уже было нечем, лезть выше некуда: маршал Малиновский в ту пору был министром обороны СССР. Но я тогда, помнится, воспринимал «Малиновский» не как фамилию, а как продолжение звания: маршал-малиновский. То есть как бы старший маршал. Или самый главный Маршал Советского Союза.

У всех пацанов, кто бы ни жил вокруг, отцы были офицерами. И я тоже гордился, что мой папа военный и ходит в летчицкой форме, и в петлицах у него крылышки, а у фуражки голубой околыш. Точно такая же форма у советских космонавтов – но папа, к сожалению, не космонавт и даже не летчик. Он служит в воинской части при аэродроме. А мама – работает инженером на заводе. Так нам, детям, все родители говорили. Так мы должны были рапортовать в школе и рассказывать посторонним.

Только лет через тридцать я узнал, что папина «воинская часть при аэродроме» и мамин завод были одним и тем же предприятием: почтовым ящиком номер такой-то, жутко секретным заводом по ремонту жутко секретных ракет. Их, оказывается, привозили на то предприятие в Авиагородке ночью, под покровом тьмы, на специально замаскированных платформах. Разгружали, в цеху номер один чинили, а потом, тоже в темноте, увозили.

Хоть мы, мальчишки, о секретных занятиях наших родителей знать не знали, имелось ощущение, что они, а значит, и мы находимся, как говорилось тогда по радио и писалось в газетах, «на переднем крае». Это чувство было разлито в воздухе. Недаром же наши отцы ходили точно в такой же форме, как Юрий Гагарин, Герман Титов или Алексей Леонов. А городок назывался авиа-, и около него, кроме секретного завода, и впрямь находился аэродром.

Однажды я увязался туда за пацанами постарше.

Мы притаились за деревьями на пригорке и наблюдали, как совсем рядом с нами, за бетонным забором с колючей проволокой поверху, взлетают небольшие реактивные самолеты. У них настоящее пламя из сопла выбивалось! И еще мне нравилось, что за стеклянным фонарем кабины виднелись головы летчиков в черных шапках-шлемофонах.

Теперь я знаю, что аэродром тот был учебный, а самолеты назывались «МиГ-15». Странно, я не помню грохота – зато очень хорошо помню красные звезды на крыльях и хвостах аэропланов стального цвета.

О том своем походе на аэродром я родителям так и не рассказал. По-моему, они до сих пор об этом не знают.

Гулять меня отпускали в Авиагородке одного без взрослых с незапамятного времени и куда хочешь. Я даже еще школьником не был, как стал один выходить во двор. Не было никаких запретов и ограничений: туда не ходить, сюда не лазить. Свобода, что давалась детям, объяснялась, как я сейчас понимаю, кумулятивным воздействием на моих родителей двух взятых вместе факторов: во-первых, советской власти, при которой слыхом не слыхивали ни о каких маньяках и преступлениях, особенно против детей. Не потому, конечно, что их вовсе не было. Они, как мы знаем теперь, случались – но, во-первых, значительно реже, чем нынче, а во-вторых, о них никто не говорил и не писал, и казалось, что их и вовсе не существует. Кроме того, сказывалась атмосфера военного городка, где проживали только свои. Все дети гуляли в одиночку, без родителей и нянек – все равно мы не смогли бы уйти дальше бетонного забора и проходной.

Поэтому не могу вспомнить, как получилось – возможно, мы нашли-таки способ убегать из городка, но однажды мы с мальчишками удрали в поля.

И вот перед нами расстелилась степь. И вся она оказалась покрыта цветущими тюльпанами. Их были тысячи. В основном красные. (Но имелись и один-два желтых.) Тюльпанов было огромное, несчетное (как мы, дети, тогда говорили) количество. И я стою перед ними – пораженный. Во-первых, конечно, пришиблен их красотой. А во-вторых – странностью ситуации. Ее парадоксальностью (хотя, разумеется, я этого слова тогда не ведал).

Я ведь знаю, что тюльпаны – это товар. Их продают за деньги: бабульки на ростовском базаре, торговки на станции Батайск. А тут их – сколько хочешь. Бесплатно. И они никому не принадлежат. Рви сколько влезет.

Но рвать-то как раз нельзя. Потому что сорвешь, принесешь маме – соблазнительно, конечно, ее порадовать. Но она спросит: где взял? И придется тогда врать. А правду сказать – родители не обрадуются. Чувствовал я, что непозволительно далеко от дома мы с пацанами забрались.

Так и не признался, что побывал в тюльпановых лугах. А теперь и не вспомнишь даже с помощью гугл-карт, где эта красота рядом с Авиагородком находилась.

Зато в другом своем подвиге я родителям повинился. Точнее, я-то шел к ним, напротив, похвастаться.

Речь шла о разрушке, что находилась неподалеку от нашего дома. Я пришел домой и сказал маме: «А ты знаешь, что я среди наших мальчиков самый смелый?»

– Ух ты, – ответила она, – и как же вы это определили?

– А на разрушке все пацаны лазили только по первому этажу, а я поднялся на второй! – гордо заявил я. – Один! Никто больше не смог!

Это и впрямь было непросто, как сейчас помню. Лестницы, даже разрушенной, в руинах не осталось. На второй этаж вела наклонная бетонная балка. Она, как и сохранившиеся стены, вся была в щербинах и оспинах от былых пуль и осколков. Это придавало путешествию по балке дополнительную прелесть. Можно было вообразить, что тебя обстреливают фашисты – а ты, невзирая на вражеский огонь, ползешь на второй этаж передать важное сообщение в штаб. Да, пройти по бетонной плите, лежавшей под углом, с каждым шагом оказываясь все выше от пола, усыпанного щебнем и битым кирпичом, было жутковато, страшно – но очень заманчиво. И я прополз по ней и прошел! Единственный из всех мальчишек! А потом – благополучно спустился вниз.

Но мама отчего-то не разделила восхищения моей смелостью. Напротив, как я почувствовал, слегка испугалась.

– Ты ходил на разрушку? – переспросила она меня изменившимся голосом.

– Да.

– И лазил даже на второй этаж?

– Ну… Да…

– Да как же ты мог?! – воскликнула она. – Это так опасно! Там же все на живую нитку. Извини меня, на соплях!

Всякий раз, когда моя мама (вслед за бабушкой) употребляла хотя бы отчасти бранное или просторечное слово, она непременно извинялась. Даже когда пребывала, как тогда говорили, «в растрепанных чувствах».

– Да ведь разрушка эта в любой момент может развалиться, – продолжала она, – и вас завалит! Насмерть! И не найдут потом! А ты еще по ней лазил, додумался! Ну и сверзился бы с верхотуры! Нет, Сереженька, пожалуйста, обещай мне, что ты никогда больше не будешь туда лазить. И мальчишкам скажи, чтобы не ходили! Это же так опасно! Обещай, Сереженька!

Что ж! Я пообещал маме. И больше, впрямь, ни разу на разрушке не был.

Кажется, не был. Во всяком случае, я не помню.

А что стало теперь с той самой разрушкой в Авиагородке, не ведаю. Наверное, в конце концов ее, как и все подобные руины, снесли. И может, даже возвели на их месте нечто новое.

Пианино с канделябрами

Если руины с прошлой войны ныне исчезли совершенно, то следующий объект полностью канул лишь из моей собственной жизни (и слава богу!). Их давно уже не делают, едва ли не сто лет. И свой век доживают последние из оставшихся.

Один из них, например, находится в музее-квартире Булгакова на Садовой. Кое-что представлено в антикварных магазинах. Или продается с рук. Даже странно, что когда-то в детстве я был хозяином столь старинной и ценной вещи, настоящей фамильной реликвии. Да с историей!

А я еще столь мало сие изделие ценил. Даже, скорее, ненавидел.

Конечно, это было не моей идеей. Это придумали родители. А еще точнее – мама. Или даже, скорее, моя бабушка (по маминой линии), Татьяна Дмитриевна Литвинова. Или, может, ее мама и моя прабабушка Ксения Илларионовна Дьячкова (в девичестве Савичева).

Короче, в один прекрасный день старшие решили учить меня музыке.

Старинный инструмент в тот момент пребывал в квартире бабушки в Новороссийске. Достался он нам от пратетки (а как еще назвать родную сестру прабабушки?) На нем когда-то училась музицировать моя мама. А само пианино было старинным, дореволюционным, с латунными подсвечниками, благородно посверкивающими латунными педалями, белыми, слоновой кости, клавишами, слегка пожелтевшими от времени. И золотом выгравированным на крышке названием фирмы-производителя. Что была за фирма, я, конечно, не помню. Да и никто из семьи не помнит: ни мама, ни тем более папа. Но почему-то мне хочется, что то был «Рёниш». Ну, о’кей, пусть будет «Рёниш».

Тогда, в шестидесятые годы двадцатого века, никакая старина не ценилась. Подумаешь, пианино с подсвечниками! Кому нужны канделябры? Анахронизм! Барахло! Что ими освещать, не смешите? Какие ноты? Кругом поголовная электрификация!

И вот в один из дней пианино «Рёниш» с канделябрами было вывезено из новороссийской квартиры бабушки, загружено в контейнер – и вскорости воцарилось в нашем ДОСе в Авиагородке.

Потом, когда я вырос, я не раз спрашивал и маму, и бабушку: почему им вообще пришла в голову идея учить меня музыке? Ведь я не выказывал никакого к ней ни желания, ни способностей. Наиболее развернутый ответ я получил от бабушки, Татьяны Дмитриевны:

– Но ведь умение музицировать настолько важно для современного молодого человека из интеллигентной семьи! Представляешь, ты приходишь в незнакомую компанию, там стоит пианино или рояль, и ты садишься к нему и начинаешь наигрывать пьеску или популярные мелодии!

Я (в ту пору, когда задавал вопрос, уже студент-оболтус) чуть не прыснул. Как-то не доводилось мне за время посещений разнообразных молодежных компаний видеть пианино или, тем паче, рояль. А даже если вдруг и приходилось, никому из гостей не вступало в голову сесть за инструмент и что-то наиграть. На девушек старались произвести впечатление иными, более простыми средствами. И если уж вооружались для того музыкальными инструментами, то разве что гитарой.

Однако я и в восемнадцать лет не стал раскрывать бабушке глаза на трагическое непонимание ею (что характерно для интеллигенции) нужд и чаяний простого народа (к которому я относил и себя).

Вернемся в год одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмой, когда в нашей квартире в Авиагородке воцарилось бабушкино пианино.

Вскоре вслед за пианино в доме стала появляться девушка – моя учительница. Странно, но я до сих пор воспринимаю ее как девушку и понимаю, что она была молодая и хорошенькая. В то время как свою первую учительницу я атрибутировал тогда как взрослую строгую тетю (в то время как она была, в общем, тоже молоденькой – но об этом позже). Может, музыкантша и впрямь была совсем юна – а может, совместилась впоследствии в моем маленьком мозгу с образом Наталии Варлей из фильма «Кавказская пленница» (потом расскажу, почему такая аберрация могла случиться).

Итак, девушка-музыкалка (ее имени-отчества память не сохранила) однажды явилась давать мне уроки. Когда родители оставили нас одних в комнате рядом с фортепьяно, учительница деловито открыла крышку и с бодрой фальшью сказала мне:

– Сейчас мы с тобой немного поиграем в одну игру. – И объяснила условия: – Я буду нажимать клавишу, а ты будешь этот звук петь, – и показала как: стукнула по клавише, разнеслась нота, она ее подхватила чистым голосочком: «Ляя!»

Честно говоря, я был в недоумении от предложенного задания и оттого надулся. Мне оно казалось невыполнимым. Я знал, что на фортепьяно играют по нотам, то есть по нужным клавишам бить полагалось в соответствии с закорючками на линеечках. И суть музыки и ее успех заключались, по моему тогдашнему убеждению, в том, чтобы как можно более точно воспроизводить на пианино нотную запись, а потом, посредством многочисленных тренировок, добиться наконец умения играть наизусть – так же, как наизусть читают выученные стихи. Учительница же требовала от меня нечто удивительное: петь то, что нигде не записано.

– Ну, давай попробуем, – подбодрила меня дева. Утопила ноту, подпела ей: «до!» – и выжидательно посмотрела на меня. Я молчал. – Ну, давай, Сережа, ничего страшного! – приободрила она еще. – Можно даже ошибиться, двойки никто не поставит! – И она брякнула клавишу «фа», подпела, и я тоже подтянул чужим голосом: «фа», совершенно не попадая в ноту.

– Так, хорошо! – воскликнула девица лживым голосом. – Давай еще! Соль!

– Соль! – на той же ноте промычал я.

– Отлично! – делано восхитилась она. – Теперь «ре»! – Она сама и фортепьяно запели в унисон ангельскими голосами, а я подпел им, набычившись, не в склад, не в лад:

– РЕЕЕ!

– Да! – бодро воскликнула учительница. – Не все, конечно, правильно, но… Тем интересней и почетней будет тебя все-таки чему-то научить!

Вот интересно, думаю я сейчас, неужели они никто – ни мама с бабушкой и прабабушкой, ни учительница – не видели, что у меня элементарно не было слуха (как нет и сейчас)? Впрочем, припоминаю, как бабушка приговаривала: «Музыкальный слух, как и все на свете положительные качества, поддается воспитанию». Она вообще верила, как мичуринка, что упорными тренировками можно улучшить все, что угодно. Уверяла, например, что сама исправила себе форму носа долгим самомассажем. И до самых последних дней, проснувшись, поглаживала, лежа в постели, себе крылья носа.

Впрочем, о бабушке (или о булечке, как звали ее все в семье) разговор будет ниже. Сейчас я о пианино с канделябрами.

Начались занятия. Я их воспринял с покорностью. Увы, мне приходилось тогда чистить зубы, мыть лицо, ходить в школу, учить уроки. Вот и еще одна обязанность прибавилась: музицировать.

Замечу, что я делал определенные успехи (насколько может их достичь в музицировании человек, напрочь лишенный слуха). Я научился наигрывать двумя пальцами пьеску: «Ду-ет ве-тер о-зор-ной, ла-ет пес Бу-ян-ка!» Выучил простейшие гаммы и даже стал исполнять их с некоторой скоростью. Наконец, я освоил нотный стан, скрипичный и басовый ключи, познал названия нот, диезы и бемоли, половинные, четвертушки и восьмушки, пиано и форте, стакатто и легато.

Как у любого человека, не имеющего таланта, моей любимой частью стала теория. Так бесталанные журналисты становятся крупнейшими теоретиками репортажа.

Наглядной демонстрацией моей музыкальной бездарности стало следующее. В ту пору на экраны страны вышел фильм «Кавказская пленница». Он стал первым взрослым кино в моей жизни, которое я просмотрел от начала до конца не отрываясь.

Больше того, я до сих пор не забыл обстоятельств, сопутствовавших премьере. Это был настоящий семейный поход, с мамой и папой одновременно. Обычно мы ходили в кино на детские фильмы, на утренние сеансы – либо с папой, либо с мамой отдельно. Очень редко, когда выезжали в Ростов, отправлялись в кино втроем – как правило, на детские ленты – например, на замечательный фильм про советских ребят, обезвредивших шпионов, «Аквалангистов на дне». И совсем уж редко, когда меня не с кем было оставить, мама и папа тащили меня с собой на вечерние сеансы на взрослые фильмы. Почему-то в памяти засело, например, название: «Рукопись, найденная в Сарагосе» – фильм, который я вроде в раннем детстве видел, но совершенно не могу восстановить в памяти.

А кино про кавказскую пленницу впервые понравилось нам троим.

Сейчас утверждают, что идеологию и сам термин family movie – фильм для совместного просмотра всеми членами семьи, включая детей – придумали Спилберг с Лукасом. И начали воплощать их в своих «Е. Т. Инопланетянине» и «Звездных войнах». Но мне кажется, что их опередили в конце семидесятых Гайдай и Данелия. Во всяком случае, «Бриллиантовую руку» и «Джентльменов удачи» мы с родителями смотрели вместе и с равным удовольствием – как и «Кавказскую пленницу».

И далеко не только мы. Я хорошо помню огромный (для меня тогдашнего) зал кинотеатра в городе Батайске, весь заполненный людьми.

Не осталось в голове его имени. Наверно, «Родина» или «Победа». Все кинотеатры в районных городах звались тогда «Родина» или «Победа».

Сейчас, чтобы проверить себя, я взялся найти то кино в Интернете. И, представьте, нашел! С теми самыми коринфскими колоннами на фасаде, которые я, оказывается, помнил в течение сорока лет. Он оказался свежеотремонтированным, со своим сайтом, залом «три-дэ» и японским кафе в фойе и именовался с заграничным акцентом: «Батайск-Синема». На сайте сообщалось о будущих премьерах, на форуме обсуждались голливудские новинки – вот только ни слова о том, как назывался кинотеатр прежде. Может, не «Победа» и не «Родина», а «Москва»? Или «Слава»? Или даже с изыском и претензией на местную патриотичность – «Дон»? Кто мне теперь расскажет? Да и имеет ли это значение?

Сейчас в кинотеатре «Батайск-Синема» наверняка во всю мощь шуруют кондишены, а тогда от большого количества людей было душно, воздух спертый, и даже немного плохо пахло. Зато смотреть было весело, и смеялись все. И я фильм про кавказскую пленницу почти весь понял, хотя он был взрослым и про любовь. Осталась не ясна лишь пара моментов. Например, зачем Шурик показывает психам в больнице три пальца? И почему он так легко соглашается украсть комсомолку-спортсменку – ясно ведь, что предлагают ему это настоящие жулики? И почему он, когда Варлей похищает, видит в спальном мешке человека, точь-в-точь похожего на самого себя?

И еще мне очень понравился номер Труса-Балбеса-Бывалого с песенкой про султана. Я даже сам пошутил по этому поводу – после фильма. Впервые съюморил в разговоре с мамой и папой. Процитировал им анекдот из «Крокодила», из раздела «Улыбки разных широт»: «Почему в наше время не

принято многоженство? – Никто не вынес бы зрелища ста пар чулок, сушащихся в ванной». Родителям понравилась моя шутка. Мне показалось, что они гордятся мной.

И мне пришлась по вкусу задорная песенка про медведей и земную ось. А зрелище танцующей в узких брючках Наталии Варлей было, пожалуй, первой почти эротической эмоцией в моей жизни.

Сорок лет спустя, когда я встретил артистку Варлей, по-прежнему очаровательную, на приеме, первым моим побуждением было подойти к ней и рассказать об этом, но через секунду я понял, что это будет неловко. «Я мальчиком восхищался вами» – звучит почти как: «Вас очень любила моя бабушка». И я просто издали улыбнулся актрисе, а моя жена подошла к ней и взяла автограф.

Но вернемся в год шестьдесят седьмой. В очередной раз, когда музыкальная учительница пришла ко мне заниматься, выяснилось, что она тоже посмотрела «Кавказскую пленницу» и ей фильм полюбился. Мы обсудили это обстоятельство, что нас, разумеется, сблизило. И вдруг она села к пианино и наиграла и напела приятным девичьим голосом:

Где-то на белом свете,

Там, где всегда мороз,

Трутся спиной медведи

О земную ось,

Мимо летят столетья,

Спят подо льдом моря,

Трутся об ось медведи,

Вертится Земля.

Честно говоря, я был поражен примерно так же, как если бы с экрана в мою комнатку сошла и запела сама Варлей!

– Откуда вы знаете эту песню?! – потрясенный, пролепетал я.

– Подобрала, – весело пояснила училка. – Услышала в кино и подобрала мелодию.

«Как это? – подумал я. – Ладно, слова она еще могла запомнить и быстро записать, пока шло кино. Но как она узнала музыку?!»

– А где вы взяли ноты?! – пробормотал я. В моем представлении музыка передавалась от человека к человеку исключительно в записанном виде.

– А зачем они мне? – искренне изумилась она. – Я ж говорю: я услышала мелодию, а потом подобрала ее на фоно.

– Как – подобрала?

– По слуху. Услышала, запомнила, а потом сыграла.

Когда я все-таки постиг, что она имеет в виду, училка показалась мне небожительницей. Неужели такое возможно? Не врет ли она? Вот так: услышать и сразу наиграть? А другие песни она может воспроизвести?

И тогда она исполнила мне на моем проклятом пианино другой хит тех времен: «Хмуриться не надо, Лада!»

Честно говоря, этими ее умениями я оказался совершенно подавлен. Нет, наверно, ничего подобного я не достигну, сколько б ни занимался!

После того случая я музицированием стал тяготиться. С учительницей у нас сложились прекрасные отношения, она никогда меня не ругала, а только подбадривала, но бесталанность сказывалась и на моем отношении к занятиям. Музыку я не любил – потому что был к ней не способен.

И когда выяснилось, что в третьем классе мне придется учиться у бабушки с дедушкой в Новороссийске (а пианино останется у родителей в городке), я обрадовался еще и потому, что это означало прекращение музыкальных занятий.

Впрочем, моя мама была (и остается) до чрезвычайности упорной женщиной. И если уж она что-то решила, очень трудно сбить ее с толку. И когда они с папой переехали в новую квартиру в Ростов и к четвертому классу вернули меня к себе, пианино с канделябрами последовало вслед за ними. Надо ж, им хватило упорства ради меня таскать из города в город огромный инструмент!

У меня появилась новая учительница музыки, которую я совершенно не помню. Может, потому что музыкой я уже откровенно тяготился. Каждый раз меня со скандалом усаживали разучивать пьески, зубрить гаммы.

Я даже помню одну свою мечту тех лет – то, что она не уникальная, а, наверное, «вседетская», универсальная, свидетельствует рассказ на аналогичную тему, который я прочитал у Виктора Драгунского.

Мне фантазировалось тогда, что я – вырос. А все мои близкие – мама и папа, бабушка и дедушка, словно в противовес, напротив, – стали маленькими. И вот я хожу и ими помыкаю. Заставляю делать то, что они когда-то заставляли меня – а мне не нравилось. Я принуждаю их есть гоголь-моголь и пить молоко, носить колючий шарф и, главное, заниматься музыкой.

– Ну-ка, домой! – кричал я на них в своих фантазиях. – Хватит по двору носиться! Надо музыкой заниматься! Бездельники!

И мои маленькие родители, бабушка с дедушкой покорно шли играть на фортепьяно.

И когда еще через год отца перевели служить в Москву, пианино за нами не последовало. Его продали – там же, в Ростове. А уроками музыки меня, слава богу, донимать перестали.

Зато отыгрались на моей сестренке Анне. Воистину через детей родители стараются реализовать свои несбывшиеся желания. А младшие дети принуждены исправлять те ошибки, что взрослые допустили со старшими. То, что меня не доучили до конца музыке, было признано оплошностью, которую требовалось откорректировать.

Поэтому для Ани, которая родилась в Москве, купили новое пианино – лакированное, советское. И уж ей пришлось испить чашу музыки до дна. Моя

сестренка проучилась семь лет, закончила музшколу, диплом получила. Даже иногда наигрывала что-то для гостей и компаний (сбылась бабушкина мечта!). Правда, теперь вот уже лет десять к инструменту не подходит.

Но у нее хоть музыкальный слух есть!

И все равно Анечка сейчас считает, что занятия в музыкалке – даром потраченное время. Ворчит в адрес родителей: «Лучше б они нас английскому учили!»

А я теперь думаю: слава богу, что нас чему-то учили! Меньше оставалось у меня времени на беготню по разрушкам, на прогулки по крышам и курение в подвалах!

Второе наше пианино, то самое советское, родители тоже впоследствии продали – и совсем уж за копейки, потому что началась новая, капиталистическая эпоха, когда умение музицировать вовсе перестало являться какой бы то ни было доблестью.

Избавились от фортепьяно номер два уже безо всякого сожаления. А вот то старинное пианино с подсвечниками я, как ни странно, иногда вспоминаю с ностальгией. Красивое оно было, как и многие из вещей, созданных до революции. И если б мы жили не в реальном, а в идеальном мире (как герои наших с Аней авантюрных романов), о! Я бы тогда имел идеальный слух и недурной голос, и выучился бы музыке (как мечтали мама, бабушка и прабабушка), и возил бы с собой с квартиры на квартиру старинное фоно, и вечерами мы всей семьей, собравшись подле него, возжигали бы подсвечники и музицировали.

Но мир такой, каков он есть. И Господь не дал мне музыкального слуха. А я, вопреки дарвинистке-бабушке, не смог его в себе развить и воспитать. И антикварное пианино, доставшееся нашей семье от пратетки Екатерины Илларионовны, кануло куда-то в пучину времени.

Афиши рисованные

В детстве для нас развлечением номер один, как и предрекал Ленин, оказалось кино. Его изречение о том, что оно является важнейшим из всех искусств, висело, выведенное белой краской по кумачу, в зале Дома офицеров Авиагородка.

Да и выбора особенного не имелось. Каким искусством оставалось наслаждаться? Телевидение еще только развивалось. У нас в доме был черно-белый телевизор «Темп-6» с диагональю сорок три – нет, не дюйма – а сантиметра. Сорок три сантиметра – это почти как монитор лэптопа, на котором пишу я сейчас эти заметки. Трудно сейчас представить, что в экранчик такой величины могла впериваться целая семья из трех человек. А ведь сиживали все трое, вдобавок и с гостями.

Да и выбор передач был скудный. У нас в городке ловился только один канал. А вот, для примера, найденная в Интернете программа телепередач из тех времен – на тридцатое августа шестьдесят восьмого года:

17.05 – Теленовости. 17.15 – «Творческое объединение приключений и фантастики». Е. Войскунский, Л. Лукодьянов – «Формула невозможного». 18.00 – «Необыкновенный лагерь». 18.55 – «Интервью, которого не было». Премьера телефильма. 20.15 – «Эстафета новостей». 21.15 – «На огонек»[2 - Первое название популярной передачи «Голубой огонек».]. 22.30 – Программа цветного телевидения. Телетеатр миниатюр «Тринадцать стульев». 23.30 – «Только факты». «Музыкальный маяк».

Прошу заметить, тот день был не обычный, а пятница. Да еще перед началом нового учебного года. Потому телевизионщики расстарались, поставили в эфир самые хиты: и «Огонек», и «Кабачок 13 стульев». Родители этими программами увлекались. Ну и нам, детям, приходилось глядеть-слушать взрослые шутки. Тренировать свое чувство юмора.

Из-за нехватки развлечений хорошее кино и взрослые, и дети искали. Его – ждали. За ним ездили в близлежащий Батайск и в Ростов.

Мальчишки пересказывали друг другу фильмы. Поэтому о Спартаке я, например, услышал намного раньше, чем кино увидел. Не говоря уж о романе Джованьоли, который так и не прочитал.

Если житель СССР в чем-то испытывал дефицит, это сильно обостряло и без того неплохо развитые творческие способности россиян. Когда имелась сильнейшая недостача острых сюжетов и ярких приключений, приходилось выдумывать их самим.

Как сейчас помню долгие весенние, лиловые сумерки над городком. Мы, несколько мальчишек и даже девчонок, собрались на лавочке неподалеку от дома. И – рассказываем байки и истории. Или, по тогдашней нашей терминологии, заливаем.

Скажу без ложной скромности: довольно быстро выяснилось, что из всех рассказчиков я оказался лучшим. У детей вообще все упрощено и обострено. У них нет интриг, критики, группировок, промоушена, пиара. Да и целевая аудитория маленькая. Что нравится – нравится. Что нет – нет.

И вот уже именно меня все вечерами просят: «Жилик, расскажи!» И я – рассказываю. Как сейчас помню, один из самых моих коронных сериалов я назвал, ничтоже сумняшеся, «Новые приключения Жилика». Замечательная идея! Истинно голливудская! Отождествить главного героя с автором! И рассказчику удобно и приятно, и слушателям персонаж близок и понятен. Что там я нес – хоть убейте, не помню. Полагаю, что-то в духе наших с Аней романов – только любви было поменьше по причине полного незнакомства автора с данным предметом и тотальным отсутствием интереса к оному как у него самого, так и у целевой аудитории. Я весьма быстро обучился также трюкам, которые позволяли поддерживать интерес к сюжету. Например, очень умело прерывал повествование на самом интересном месте, делая вид, что мне срочно надо домой – а вслед несся сладостный для авторского самолюбия вопль ребят: «Ну, расскажи еще! Ну, что там дальше было!» А я с важностью бурчал: «Завтра, завтра, все будет завтра».

Интересно, что совсем недавно, когда я поведал про тот литературный дебют моей сестре – соавтору, она фыркнула: «Да у меня все точно так же было!» Совершенно в другом месте, с другой компанией она, нимало не зная о моих достижениях, повторила с разницей в одиннадцать лет тот же путь на ниве устных рассказов и получила то же звание лучшей рассказчицы!

С тех пор, когда вдруг заходит речь о выборе профессии, я обычно рассказываю ту историю и советую присмотреться, а что вам больше всего нравилось и лучше удавалось в раннем детстве: шить? Вязать? Рисовать? Куличики печь?

Командовать взятием снежной горы? Что больше нравилось, тем и надо заниматься. Правда, самому мне понадобилось почти жизнь прожить, чтобы эту закономерность понять, и еще дольше – чтобы начать ей следовать.

А с кинофильмом «Спартак», что привезли вдруг в Дом офицеров в Авиагородок (и с афишами к нему) случилась вот какая история.

Тогда мне (равно как, подозреваю, и моим родителям и подавляющему большинству жителей городка) ничего не говорили имена режиссера Стэнли Кубрика и исполнителя главной роли Керка Дугласа. Тем более никто из нас не знал Лоуренса Оливье или Питера Устинова. Не они были главной приманкой. Для меня самым важным – как и для других мальчишек – было, что в кино – дерутся. О, гладиаторские бои! Мне заранее рассказали, что они в том кино происходят на мечах, на кулаках и даже при помощи сетки и трезубца. Поэтому посмотреть фильм мне очень хотелось. В Авиагородок его привозили в первый раз за всю мою жизнь. А фильм оказался неновый, по другим экранам давно прошел, и искать его в Ростове или, допустим, в Батайске, было бесполезно. Потому ситуация для меня складывалась, как для рабов Рима: сейчас или никогда.

И, похоже, я, как и они, проигрывал. Не помню, по каким причинам, но мои родители идти на «Спартак» отказались, вместе либо по отдельности. Что-то им мешало. Может, гости, а может, партийное собрание или университет марксизма-ленинизма. А одного меня на вечерние сеансы в Дом офицеров не пускали. Провалилась также попытка набиться в компанию к кому-то из друзей, что собирались идти смотреть кино (счастливые!) со своими родными.

– Да зачем тебе, спрашивается, этот «Спартак», – убеждала меня мама. – Фильм взрослый, дерутся мало, в основном там политика или любовь. Идет он долго, двухсерийный, да ты уснешь на нем от скуки!

Уговоры на меня не действовали. Однако положение складывалось безвыходное. Но я выход нашел.

Вообще-то решение оказалось творческим, достойным автора саги «Новые похождения Жилика». Я решил, ни больше, ни меньше, сорвать сеанс. Я как рассудил: если кино в тот день не состоится, его возьмут и покажут на следующий день. А тогда уже родители пойти на сеанс вместе со мной смогут.

Оставалось только придумать, как отменить сеанс.

Я решил самолично уничтожить афиши к фильму. Никто не будет знать, какой фильм показывают и во сколько. Значит, на него и не придет никто. И сеанс отменят, перенесут на завтра.

Теперь предстояло претворить план в жизнь. Я задумал начать с ближайшей афиши – она висела возле нашего ДОСа. Итак, я залез на железную конструкцию, к которой крепилась деревянная доска. К доске кнопками была пришпилена афиша с заветными строками:

Худ. к-фильм

СПАРТАК

Пр-во США

2 серии

А ниже – дата и время. Где состоится сеанс, уточнять нужды не было. В городке имелась единственная площадка: зал Дома офицеров.

Я оглянулся по сторонам, вроде никого – и сорвал афишу с доски. Потом спрыгнул вместе с ней вниз на асфальт, дернул. Афиша оторвалась окончательно и осталась у меня в руках. Быстро-быстро я пошагал с ней в сторону канала.

Когда дети вслед за взрослыми называли эту водную преграду каналом, мы ему льстили. На самом деле то была канава, в которую сливались воды из наших ДОСов, казармы, бани. Когда по субботам в бане мылись солдаты, вода в канале шла бурным потоком и вся была мыльной. По берегам канавы рос кустарник и селились лягушки. И вот именно туда маленький интриган Жилик закинул афишу со «Спартаком». Она плюхнулась в воду и стала медленно тонуть, цепляясь своими концами за бетонные берега.

Когда я возвращался со стороны канала, меня обуревали сложные чувства. Разумеется, душу переполняла гордость оттого, что я начал лихо осуществлять свой план. Но тяготило, конечно, раскаяние от совершения асоциального поступка, а также страх разоблачения. А кроме того, я был деловит, потому что выполнил лишь самую первую часть своего преступного замысла. Оставалось сорвать и уничтожить еще две афиши – одну на самом Доме офицеров, а вторую на другом конце городка.

Но когда я двигался по направлению к Дому офицеров, увидел посредине аллейки мою маму. Вид ее не предвещал ничего хорошего. И тогда я развернулся и безотчетно пустился бежать от нее.

– Сережа, стой! – громовым голосом воскликнула мама.

Я припустил дальше.

– Сергей, стой, или я тебя догоню и тогда не знаю, что с тобой сделаю!! – выкрикнула мама. По ее голосу я понял, что ко мне могут применить никогда ранее не практиковавшиеся в семье методы физического воздействия.

Я остановился и, когда мама подошла ко мне, уже заливался горючими слезами.

– Ну и зачем ты это сделал? – спросила она одновременно строго, понимающе и жалостливо.

Я не ответил и заплакал еще пуще. Она погладила меня по голове, и я уткнулся лицом ей в живот. А потом, отревевшись, выдал, захлебываясь, всю свою сложнейшую интригу: «Спартак»… Поздно… Вы не можете пойти… Сеанс перенесут на завтра…»

Мама вздохнула, улыбнулась, утешила меня, пожурила – а потом… Мы пошли к Дому офицеров, и она, разумеется, купила мне билет в кино, а после сделала так, чтобы кто-то из взрослых провел меня на вожделенный «Спартак» и усадил в зале.

И, знаете, некоторые сцены из того фильма остались со мной навсегда. И когда я смотрел кино второй раз, уже будучи взрослым, я понял, что все помню! Я узнаю

эту ленту! Стэнли Кубрик и правда, значит, великий режиссер, что смог внедриться своим искусством даже в юный мозг бесконечно далекого ему человечка – сына противостоящего его родине офицера Советской армии из военного городка, затерянного в ростовских степях!

А сейчас я думаю (вообще-то мысль, достойная ребенка, пытавшегося сорвать киносеанс уничтожением афиш), что, может, наши с Аней неуспехи в Голливуде оттого и происходят, что судьба ополчилась на меня за надругательство над афишей «Спартака»?

Мне ее сейчас жалко – ту афишку. Ведь нынче таких не бывает. Раньше чуть не при каждом кинотеатре был свой художник, который зачастую не просто писал название фильма и расписание сеансов – изображал целые многофигурные композиции. Самые внушительные рекламы были в Москве, в центре империи: и та, которую рисовали на торце кинотеатра «Россия» (теперь «Пушкинский»), и та, что помещали на гигантской тумбе рядом с кинотеатром «Октябрь». От них захватывало дух.

Думаю, у нас в городке роль художника выполнял тогда солдатик. Он считал дни до дембеля, благословлял судьбу за то, что дала она ему умение каллиграфически выписывать буквы, и рисовал. Наверное, в качестве бонуса за его способности ему порой удавалось покемарить пару часов за сценой или сорвать поцелуй у юной библиотекарши…

Рукодельные афиши можно уверенно занести в «лавку забытых вещей». Сейчас в ходу стандартные, очень красивые, удобные, завлекательные плакаты – разработанные дистрибьюторами и креативщиками, протестированные на фокус-группах, где все служит завлечению простака: и картинка, и слоган, и имена звезд. А я иногда скучаю по тем доморощенным постерам, написанным художниками обычно в условиях жесткого цейтнота и похмелья. На них Юрий Никулин в тюбетейке похож на бандита Абдуллу из «Белого солнца», Вицин – на Суслова, а Моргунов – на Берию. Но что-то в них было бесконечно милое, не правда ли?

Равно как и в маленьком смешном дурачке, задумавшем отменить киносеанс уничтожением всех в городке афиш.

Кинотеатры летние

В Новороссийске у бабушки с дедушкой я проводил обычно все летние каникулы. И наступал там однажды, ближе к августу, день, когда мне становилось дико скучно. Многие мои товарищи по новороссийскому двору разъезжались: у них были свои собственные бабушки-дедушки и пионерлагеря. Играть мне становилось не с кем. На море одного не отпускали. (Почему, об этом ниже.) Книги в домашней библиотеке, что мне интересны, давно прочитаны. В городской детской библиотеке – тоже. Что оставалось? Я уж и деревянные поделки под дедовым руководством мастерил, и помогал бабушке пирожки лепить – но одинокие дни длились бесконечно. Приходилось коротать время в кино.

В городе имелось пять кинотеатров, их названия я до сих пор помню наизусть: «Москва», «Украина», «Нептун», «Россия» и «Смена» (детский). Кроме того, существовали еще летние кинозалы. Было их штук семь. Сейчас они все самоуничтожились. Канула в Лету единственная летняя площадка в курортном поселке Архипо-Осиповка. Однако вот в болгарском городе Поморье кинозал под звездами, например, существует. Да и в Москве они нынче переживают период второго рождения. Вот уже и в Парке Горького кино есть, и на ВВЦ открылось.

Но те старые курортные киношки никто уже не сможет вернуть и повторить. Там сидели на деревянных скамьях. Там не возбранялось курить, и дым поднимался к небу, высвечиваясь в луче проекционного фонаря. Там хоть и запрещалось, но многие лузгали семечки, и перед началом сеанса появлялась секретная старушонка, продавала газетные фунтики с подсолнечником. Там на заборе и на деревьях обязательно сидели мальчишки – милиция их гоняла, но не сильно рьяно. На стены и на деревья падали от проектора странные тени…

В детстве я нечасто попадал в летнее кино – хотя, конечно, хаживал. Посмотрел, к примеру, замечательнейший фильм «Гран-при» про автогонки. Мы жили в центре Новороссийска. Вблизи нашего дома ни одного летнего зала не было. Сеансы там начинались самое раннее в восемь вечера. А мне после наступления темноты запрещалось одному шататься по городу (и правильно, конечно, возбранялось). В сумерках мне позволялось играть во дворе, и только. Значит, чтобы сходить в летнее кино, мне каждый раз приходилось заверчивать целую интригу. Не столь замороченную и асоциальную, как в случае со «Спартаком», – все-таки я вырос и поумнел, однако… Чтобы упомянутый «Гран-при» посмотреть,

понадобилось моего друга Сергея «Лобзика» Л-на, на четыре года меня старше, убедить составить мне компанию – а моя бабушка отправилась к его бабушке узнавать, правда ли Сергей в кино собрался.

Приходилось ходить в кинотеатры традиционные и днем. Слава богу, уже в классе третьем меня беспрепятственно отпускали по всему городу, включая залы «Нептун» и «Россия», до которых требовалось ехать троллейбусом или автобусом.

Репертуар в советские времена менялся ни в какую ни в пятницу, и никаких предпремьерных показов по четвергам не было. Никто ни о каких сборах за первый уик-энд не думал. Да и слова такого – «уик-энд» – не существовало. Имелись простые советские выходные. А новые фильмы начинали идти с понедельника. Не действовали буржуазные штучки типа: «Релиз ожидается седьмого июля… Четырнадцатого июля…» Интрига сохранялась до последнего: что за фильм в каком кино пойдет. Как, разумеется, не имелось никаких POS-материалов: листовок с анонсами фильмов, флаеров и прочего. Поэтому гадать, что покажут и, главное, что достойно смотрения, приходилось до последнего.

Репертуар кино обычно печатался в газете «Новороссийский рабочий». По субботам там публиковали афишу на понедельник и далее. Однако порой газета об анонсе забывала. Или пропускала один из кинотеатров. Или отказывалась от рубрики кино вовсе. (Вот дураки-то! Самое важное и интересное они как раз не печатали!)

Оставалось рассчитывать лишь на рисованные афиши, что малевал неведомый новороссийский художник. Самое главное в них присутствовало: название фильма, место производства, исполнители главных ролей. Порой вместе с афишей рядом укрепляли плакат, из которого тоже можно было многое почерпнуть о грядущем репертуаре.

Сводную общегородскую афишу обновляли аккуратно, обычно по вечерам в воскресенье. Висела она неподалеку от нашего дома, на главной улице Советов, рядом с почтамтом. Я сбегал туда проходными дворами минут на десять без спроса – и вскоре уже имел представление, что мне предстояло увидеть на будущей неделе. Даже по нескольким словам анонса тренированный мозг советского мальчика мог влегкую определить, стоит идти в кино или нет. Да что анонс! Достаточно было места производства и актеров. Например, если фильм французский, а играет там Жан Маре или Луи де Фюнес – надо смотреть

обязательно. Ежели кино сделано в Индии или на студии имени Довженко – просмотр исключался категорически. А вот если на «Мос-» или «Ленфильме» – возможны были варианты. «Когда расходится туман» или, к примеру, «Конец атамана» глядеть, скорее, судя по названиям, стоило. А вот «Кремлевские куранты» – вряд ли.

В особо удачную неделю в город привозили три-четыре новых фильма, которые в принципе годились к просмотру. И по вечерам в воскресенье – о, как вдохновенно я бежал домой, рассмотрев афиши! – я предвкушал: в понедельник пойду в «Москву», во вторник в «Нептун», в среду выберусь в «Украину», в четверг можно «Смену» посетить, там отчего-то «Свадьбу в Малиновке» по второму разу показывать взялись.

Поэтому мое детство – это вперемежку «Новые приключения неуловимых» и все три серии «Фантомаса», «Бриллиантовая рука» и «Разиня», «Красная палатка» и «Гонщики», «Жандарм и инопланетяне» и «Неуловимый Джо»…

Пояс с резинками

Один из тех предметов, по которому я не испытываю ни малейшей ностальгии, а только непреходящую радость от его кончины, это детский лифчик с резинками. На него крепились чулочки. Мало кто помнит, но в нашем детстве еще не существовало колготок. И лиф с резинками надевали не только на девочек, но и на мальчиков. Вот ужас-то был!

Мало того что мальчишке носить поясок с резинками было как-то унизительно, вдобавок проклятые застежки плохо мне поддавались. Вечно я с ними возился. А жуткие воспитательницы в авиагородковском детсаду еще и подгоняли меня, ругали – грымзы! Ничего я не помню уже про тех воспитательниц, а их издевательства с чулочками – в памяти остались.

И еще они заставляли за обедом съедать весь без остатка суп. А там плавала картошка, во-первых, крупно порезанная, а во-вторых, сладкая какая-то – мерзлая, что ли. И я на всю жизнь разлюбил картошку в супе. Мои близкие для меня до сих пор ее режут меленько. А уж если здоровый кусок картофеля в супе попадается, я его ложкой или вилкой обычно раздавливаю. Или вовсе оставляю.

Надо ж, какую мощную детскую травму может нанести обычный корнеплод!

По поводу чулочков с резинками – в них, думаю, фрейдист обязательно нашел бы первопричину неврозов или атавистического страха перед женщиной. И американский автор непременно на своего маньяка (следует короткий флешбэк, наплывом) нацепил бы такой поясок, и за кадром пустил бы громовой хохот мегеры-воспитательницы: «Ха-ха-ха! Ты не справляешься?! Не можешь совладать с несчастной застежкой?!»

Однако, слава богу, маньяком я вроде не стал, и единственная травма, которую нанесли мне проклятые чулочки, заключается, видимо, в том, что у меня ни разу в жизни не было ни малейшего желания применить пояс в эротических играх. До сих пор я ничего эротического в нем не нахожу.

Гадость такая. Застежки висят, болтаются в самом жалком виде, да еще расстегиваются!

Что еще я запомнил из детского сада в Авиагородке?

Немногое. Помню, как просил у родителей перед садиком надеть на меня «свитер и пиджак». Свитер и пиджак означали, что наступила весна. В свитере и пиджаке я чувствовал себя на прогулке в саду ловким, легким, быстрым – не то что в осточертевшем за зиму пальто. И когда наконец солнце начинало светить с самого утра по-весеннему, мама однажды давала мне добро и надевала на меня вожделенные свитер и пиджак.

И еще помню, что по пути к дому из сада, на детской площадке стоял фанерный самолет. К нему в кабину можно было залезть и немножко порулить им. И когда меня из садика забирал папа, мы туда с ним ходили, и он меня в кабину подсаживал. С мамой почему-то мы там не бывали. Или я не помню этого, или ей просто тяжело подсаживать меня было, или, может, она слишком домой торопилась: мужичков своих кормить.

Бутылки ситро

Рядом с нашим домом в городке работал магазин, где продавались поштучно пирожные – как правило, корзиночки с завитками разноцветного маргаринового крема – и ситро на розлив: продавщица в белом халате ключом откупоривала бутылку, бросала крышку в коробку и разливала восхитительно пузырящееся ситро в граненый стакан. О, это сладкое ситро со сладким же пирожным! Да еще с пузырчатыми пузырьками!

Вот и еще одна вещь, которую мы потеряли (если не считать редкие и не аутентичные ностальгические подделки): бутылки ситро с этикеткой, похожей на улыбочку. Они закупоривались мощными железными пробками, и в каждой из них внутри имелась еще и пробковая прокладка.

Железные пробки представляли немалую ценность для нас, мальчишек. Мы выпрашивали их у той белохалатной продавщицы в ближнем продмаге – она обычно царственно позволяла взять. Затем из каждой крышки мы удаляли пробковые прокладки, а ее острые края загибали при помощи камня вовнутрь, а потом сплющивали почти заподлицо. В итоге крышка превращалась в плоский кругляшок, одна сторона которого была гладкой, а другая – с ребристым кольцом внутри.

А затем мы в эти крышки играли. Замечательная была игра! Такая же по правилам, как расшибалочка (как я узнал потом). Только ставкой были не деньги, а крышечки. На деньги мы не играли. Во-первых, карманных средств просто ни у кого не имелось. А во-вторых, любой проходивший мимо взрослый нашу игру пресек бы: советские дети не играют с деньгами и на деньги! Да еще бы родителям или учителям нас сдал: люди тогда имели активную жизненную позицию, не проходили мимо недостатков и непорядка.

А с крышечками расшибалочка становилась мирной настольной, точнее, дворовой игрой.

Чернильница-непроливашка

Из школы авигородковской, хоть я там целых два класса проучился, я вовсе ничего не помню. Ни первого сентября, ни одноклассников, ни уроков, ни перемен.

Сохранилась в памяти пара эпизодов.

Один – отраженным светом, не сам по себе. Гораздо позже мне рассказала об этом булечка. Она, как и было заведено среди замечательного отряда советских бабушек, иногда приезжала к нам в Авиагородок из своего Новороссийска, чтобы посидеть со мной.

– Однажды жду тебя из школы. Вот уже уроки кончились. Пятнадцать минут прошло. Двадцать. Полчаса. А тебя все нет. Ну, я собралась, бросилась в школу. Там говорят: а Сережик ушел вместе со всеми. Я кинулась прохожих расспрашивать – и вот мне дама одна говорит: мальчиков каких-то я видела в саду. Там у вас, в Авиагородке, был яблоневый сад заброшенный. Я прибегаю – ты действительно там. С мальчишками. Вы бабочек ловите. Портфели бросили! Да такие увлеченные! Я хотела было тебя поругать, да передумала – ребенок!

Самое замечательное в том рассказе: меня никто после уроков не встречал. Я, как и все одноклассники, добирался домой самостоятельно. А расстояние от школы до дома было немалое. Километра, наверно, полтора. И подобная автономность существовала не только в замкнутых условиях городка, где все свои. Когда я в третьем классе в Новороссийске учился, я тоже полгорода в одиночку прохаживал. И потом, в четвертом, в большем городе Ростове-на-Дону. И, уж конечно, тем более в пятом классе в Москве.

В первых классах в городке, если меня не приезжали пасти бабушки-дедушки с обеих линий, вообще было восхитительно. Я приходил из школы, соседка мне грела оставленный мамой обед (к газовой плите первоклассника самостоятельно все же не допускали), я ел и оказывался до вечера предоставлен сам себе. Из тех времен у меня осталось еще одно воспоминание. Я забрался под одеяло (зачем? Не знаю. Наверно, так было одновременно страшней и уютней) и читаю Жюля Верна. (А вы думали, многосерийные «Приключения Жилкина» – они откуда? Из книг тоже, творчески переработанных и дополненных.) И вот я читаю «Таинственный остров»: там, на острове, кроме колонистов, оказывается, еще кто-то есть. А в бухту тем временем входит под парусами загадочное и даже зловещее судно… И все это так ясно, так близко, прямо перед глазами, лучше и интересней, чем любое кино! Да что кино! Реальнее, чем любая реальность!

Книга могла быть лучше, чем фильм, а собственная фантазия еще лучше, чем книга, – это я тоже впервые понял в семи-, восьмилетнем возрасте.

Однако после школы я чаще, презрев, конечно, уроки школьные и музыкальные, бежал гулять. Помню другой эпизод: откуда-то взялась неподалеку от нашего дома куча песка. И мы с мальчишками взялись на ней играть в царя горы. И так было интересно карабкаться, биться, сталкивать и скатываться вниз, что я ощущал, барахтаясь в том песке, восторг, эйфорию. И вдруг увидел дедушку. Он жил вместе с бабушкой в Новороссийске и непонятно почему возник здесь. Потом оказалось, что был в Ростове в командировке и решил заглянуть к нам в Авиагородок. И помню: я и дедушке рад, я его очень любил, и знаю, что он мне каких-нибудь подарков привез, – и в то же время досадно отвлекаться от такой увлекательной игры на песчаной горе.

Немного иначе ту же историю рассказывал второй ее персонаж – мой дедушка Александр Матвеевич:

– Я приезжаю, а ты в куче земли барахтаешься. Весь грязный, как турок! Ну, я тебя домой привел, отмыл, переодел, чаем с пирожными напоил…

Иногда так же, буквально с улицы, забирали меня вдруг нагрянувшие родные с другой стороны, с папиной: дедушка Яша и бабушка Паша. Они так и существовали у меня в восприятии рифмованной парой: дедушка Яша и бабушка Паша; дед Яков Евстафьевич – кряжистый, с большим лицом и густыми длинными бровями – и бабушка Прасковья Ивановна, вечно бледная и молчаливая, к сожалению, очень рано умершая. Их я тоже любил, но немного дичился, потому что хуже знал. Но я радовался, когда они приезжали, хотя бы потому, что они обязательно меня угощали.

Была в моем детстве действительно раритетная вещь, которую я еще помню: чернильница-непроливайка. Кажется, наш год оказался последним, кто писал перьями из непроливашек. Уже во втором классе нам позволили писать чернильными авторучками, а к пятому началась совсем вольница: сняли запрет на шариковые ручки. Я даже помню, как спорили тогда взрослые. «Авторучки убьют хороший почерк!» – кричали ретрограды. «Долой каменный век! – восклицали в ответ прогрессисты. – Вы бы еще гусиным пером заставляли детей писать! Нельзя насильно сдерживать прогресс, тем более в образовании!»

В итоге оказалось, что, как всегда, победили прогрессисты, а правы оказались ретрограды. И впрямь ведь почерк у современных людей ухудшился катастрофически. У меня, который непроливайки, перья (и, следственно,

чистописание) еще застал, он лучше, чем, к примеру, у жены, которая училась позже и их не узнала. А у родителей моих почерк получше моего. У отца вообще такой – хоть плакаты пиши или дипломы выписывай. И у булечки с дедом – тоже был красив.

Хотя, с другой стороны, а кому он, почерк, теперь нужен? Ведь мы даже номера телефонов записываем сразу в память мобильников и планшетников. И жалобы строчим не в соответствующую «Книгу», а отправляем по электронной почте.

Из первых двух классов в Авиагородке в итоге запомнилась мне только учительница. Помню, что была она строгая, сухонькая и казалась немолодой. И еще имя-отчество помню, довольно чудное: Муза Петровна. А больше – хоть убей.

(Вот и учи их, называется! Все-таки человек – неблагодарная скотина. Ребенок – особенно. Два года отдала мне Муза Петровна. Наставляла, воспитывала. Наверняка передала много хорошего. А я, свинья, ну ничегошеньки из этого не помню.)

Прошло сорок лет с тех пор, как я пошел в первый класс. И нас с сестрой и соавтором Аней издательство отправило в рекламную поездку в Ростов-на-Дону. И в одном из прямых эфиров на местном радио я упомянул, что учился здесь поблизости, в Авиагородке, и первую мою учительницу звали Музой Петровной. А потом мне уже в Москву на сайт приходит письмо: мол, моя бабушка, Муза Петровна Л-ва, действительно была учительницей начальных классов в Авиагородке, проработала больше сорока лет, сейчас на пенсии. Живет в Ростове, у нее четверо внуков. И – фотография, на которой худенькая, сухонькая женщина в окружении внуков. И я – представляете! – узнал ее! Но по-прежнему ни одной детали наших с ней уроков, разговоров, воспитательных бесед и прочего не вспомнил. Ни-че-го!

В очередной раз остается только вздохнуть по поводу несовершенства человеческой памяти. Я прожил в Авиагородке шесть лет. Пошел здесь в первый класс, отучился два года. А что в мозгу осталось? Какие-то бабочки, пояски, фанерный самолет, канделябры на пианино. Каналы с мыльной водой, зал Дома офицеров, афиша «Спартака». А ведь были у меня тогда другие радости, горести, болезни, люди, встречи, дружбы, эмоции! Я научился там писать, читать, считать, играть, шутить! И – где оно, минувшее?! Да полно, было ли оно, это все?!

Каботажка

Самым романтичным местом в городе Новороссийске была Каботажка. Сейчас неофициальный термин тот, кажется, забыт – одновременно с почти полным исчезновением в стране любых форм каботажного плавания.

Каботажкой мой дед, а вслед за ним и я, да и многие вокруг, называли участок набережной в Новороссийске, откуда отправлялись пассажирские суда. Там был пирс для катерков, а также длиннющий бетонный мол, где швартовались большие суда и «кометы». То был самый веселый в городе порт – пассажирский, в отличие от других портов, суровых, деловых, где у входа даже часовые с винтовками и в форме стояли: лесного, грузового и нефтеналивного. В шестидесятые и семидесятые почти каждое утро на Каботажку приходили пассажирские или круизные суда. Отсюда в свой последний путь ушел в последний день лета восемьдесят шестого года «Адмирал Нахимов», собственной гибелью как бы подводя черту под эпохой местных черноморских рейсов.

В конце шестидесятых о катастрофах – как?! они могут случаться у нас, в СССР?! – никто и помыслить не смел. С Каботажки отправлялись катера, что увозили отдыхающих на пляж на Косу, а работяг – в грузовой порт. Ходили они и в Кабардинку, и даже в Геленджик, и, в это совсем уж трудно поверить, между Новороссийском и Архипо-Осиповкой, курортным поселком в девяноста километрах, курсировал катерок. Он шлепал пять часов в одну сторону, но дисциплинированно – ежедневно, если не было шторма, отправлялся в путь.

«Кометы» уносились с Каботажки в тот же Геленджик, Кабардинку, Туапсе, Керчь и Сочи. Пассажирские теплоходы обычно швартовались по утрам. Они курсировали по всему побережью, и раз в день-два отправлялись либо в сторону Одессы, либо в направлении Батуми. А еще, примерно раз в неделю, заходили в порт совсем уж большие и элегантные круизные лайнеры: «Адмирал Нахимов», «Шота Руставели» и «Тарас Шевченко».

Как следствие, Каботажка была интереснейшим местом в городе. Особенно летом. Люди по трапам сходили и поднимались. Суета, отдыхающие, гулянье.

Музыка, смех, воздушные шарики.

Мой дед летом и осенью отправлялся туда на прогулку едва ли не ежедневно. Иногда они шли вместе с булечкой. Она брала его под ручку – и топали.

Звали и меня, конечно, – но зачем мне чинные хождения со старичками? Я с гораздо большей охотой оставался дома или, еще лучше, во дворе с друзьями. Когда пенсионеры уходили, я гораздо лучше себя чувствовал и во дворе, и в квартире – постоянного надзора нет, можно чем-нибудь недозволенным заняться. К примеру, слазить с друзьями на чердак, а то и на крышу. Или рассмотреть дедов портсигар, где он держал (сам не курил) сигареты для гостей, и понюхать их.

А дед пусть гуляет на Каботажке, ха-ха! Кстати, я всю жизнь до самого последнего времени думал, что это название происходит от слова каботаж[3 - Каботаж (франц. cabotage) – судоходство между портами одной страны.] (а как иначе?!), которое, в свою очередь, как сообщает Википедия, восходит к испанскому «кабо», то есть мыс.

Однако недавно, побывав в Стамбуле, я узнал, что там есть набережная, и целый жилой район, и станция метро, что называются Каботаш! При том, что этимология турецкого Каботаша совершенно иная. Слово произошло, сообщают путеводители, от турецких слов «Каба» – камень и «Таш» – грубый.

Поразительная история! Оказывается, ровно на противоположной стороне Черного моря, в бывшем Константинополе – Царьграде, имеется своя Каботажка – точнее, КаботаШка!

Дед мой ни в каком Стамбуле, как и все советские люди, ни разу не был – откуда же он взял это название? Почему именовал пристань именно Каботажкой (или Кабаташ-кой) – а не пирсом, молом, набережной или морвокзалом, как все вокруг? Увы, теперь уже и не спросишь – некого спрашивать.

Я до сих пор считаю портовые города самыми красивыми на Земле. Когда родители решили, что в третьем классе я буду учиться в Новороссийске, у бабушки с дедушкой, я обрадовался. Там было море и уютный двор. Там не нужно шататься после школы одному – бабушка вышла на пенсию и могла покормить внучка и приголубить. А главное, я любил бабушку и дедушку.

Тогда я даже себе не признавался, но я их любил, пожалуй, сильнее мамы с папой. Сейчас я думаю, а что здесь такого, все говорят, что внуков бабушки-дедушки любят больше, чем собственных детей. Немудрено, что и внуки отвечают «грэнд-парентсам» взаимностью.

Точнее сказать, я любил бабушку и дедушку не так, как родителей. Иначе – как-то безоглядней и одновременно тоньше и уверенней, чем родителей.

Любовь ко мне родителей была более требовательной. Я должен был многое делать для того, чтобы ее оправдывать. Мне полагалось ходить в школу, хорошо учиться, не лениться, заниматься музыкой, читать книги. Однако бабушка с дедушкой любили меня (я чувствовал), каким бы я ни был, и продолжали бы любить, что бы я ни делал и как бы себя ни вел. Их любовь не требовалось подтверждать ежедневными достижениями. И от этого мне было с ними легче, проще и спокойнее.

А любовь к родителям была какая-то яркая, страстная, трепетная. Помню – чуть ли не тогда же, летом, когда меня намеревались перевести учиться в Новороссийск, – я проводил каникулы, как всегда, у бабушки с дедушкой. Потом в отпуск приехали родители, и это, конечно, было восхитительно. С ними отдыхать оказалось намного интереснее. Начать с того, что мы могли завиться – как тогда это называлось с легкой руки деда – на пляж на Косу, или в Кабардинку, или в Южную Озерейку. Купались там весь день напролет. Папа учил меня плавать с маской. У него было подводное ружье, которое стреляло гарпуном-трезубцем с помощью резиновой ленты. Он в маске, с ластами и трубкой уплывал в море минут на сорок – охотился. Мама брала с собой еду: помидоры, хлеб и сваренные вкрутую яйца. Мы перекусывали на пляже и иногда даже позволяли себе купить шашлычки, которые жарились и продавались тут же на деревянных мини-шампурах. Папа учил меня нырять, а еще мы с ним ходили в небольшие походы – проще говоря, лазили по окрестностям.

Отдых с родителями не имел ничего общего с чинными походами на пляж, которые совершали со мной обычно бабушка и дедушка. Начать с того, что старички не купались сами: на горпляже им, видите ли, было грязно, а на Косу ездить далеко. Шашлычков и даже пирожков они не покупали, квасом из бочки меня не поили: дорого, антисанитария, к тому же дома ждет прекрасный обед. А главное, с бабушкой или дедушкой я воспринимал себя как поднадзорный, которого вывели на прогулку за хорошее поведение. С родителями я как будто

бы развлекался со своей ровней. Да и дед с булечкой вздохнули облегченно: я перестал приставать к ним, чтобы меня отвели на пляж. (Одному ходить на море категорически возбранялось.)

Когда мы втроем с мамой и папой выходили из дому и направлялись на ту самую Каботажку, чтобы сесть на катер и поехать на пляж, старички выходили на балкон и трогательно махали нам вслед. Как я понимаю сейчас, они испытывали большое облегчение оттого, что наконец-то остались одни. А когда мы возвращались под вечер, выспавшийся и заметно повеселевший дед неизменно спрашивал меня, сколько я заплывов совершил, то есть искупался. И я гордо ему рапортовал: «Семь!.. Восемь!.. Девять!..» – а дедуля делано восхищался или ужасался.

Спустя двадцать лет я приеду в Новороссийск уже в другой роли – родителя. И точно так же, как когда-то мои папа и мама, мы станем отправляться с женой и сыном на пляж – а дед с булечкой будут махать нам с балкона. И вечером совсем старенький дед так же, как тогда – меня, будет спрашивать моего сына, сколько раз тот заплывал. А мне снова – так всегда бывает, когда тебе хорошо – станет казаться, что время идет слишком быстро и отпуска не хватает.

В тот раз с родителями наш совместный отдых очень быстро подошел к концу. И вот они уже должны уезжать. Отпуск у них продолжался – только проводить они его дальше собирались одни: в пансионате со своими взрослыми друзьями. И – без меня. Правда, планировалось, что я тоже приеду к ним в Сочи вместе с булечкой на пароходе. Но когда это еще будет! Только через неделю. А пока мы с родителями расставались.

Они намеревались отплыть из Новороссийска в Сочи с той самой Каботажки на «комете». Судно на подводных крыльях отправлялось рано утром, и провожать родителей я не пошел – простились в квартире. Никогда я еще не испытывал такой горечи от расставания, как в тот раз. Боже, как же я не хотел, чтобы они уезжали! Как же мне с ними было хорошо!

Когда родители ушли (а до Каботажки от нашего дома было минут пятнадцать ходьбы), бабушка с дедушкой улеглись досыпать, хотели и меня уложить, но я предпочел болтаться по квартире. Было очень скучно, тоскливо и горько. Я попытался забыться с книгой – не удалось, или книга оказалась неинтересною.

И вдруг звонок в дверь. Я бегу открывать – вернулись мама и папа. Что, опоздали на «комету»? Нет – оказывается, в море шторм и отплытие задержали до двух часов дня. Какая же была радость: снова встретиться с уехавшими было безвозвратно родителями! Как хорошо было с ними балагурить, опять отправиться на прогулку и даже в магазин! Хотя и саднила червоточинка от того, что это общение внеплановое, почти украденное, и оно опять скоро кончится. И как же я мечтал, чтобы шторм разбушевался не на шутку и мама с папой остались бы со мной еще на полдня, а потом на день, и на два… Кажется, впоследствии, даже в эпоху самых сильных любовных увлечений, не бывало у меня столь сильной жажды отодвинуть предначертанное расставанье.

Однако чудес по просьбам восьмилетних мальчиков не бывает. А молиться я тогда еще не умел. А даже если б умел… В два часа дня шторм на море стал стихать, и родители уехали.

Дальше все произойдет, как планировалось, и через неделю мы поедем в Сочи с бабушкой и снова встретимся с мамой и папой, и я стану ходить с ними на море и в кино. Но все уже будет немножко не то: и оттого, что окажется рядом булечка, и будут присутствовать друзья родителей с девочкой на пару лет меня старше… Все останется хорошо, но – иначе. И когда мне снова придется с ними расставаться, разлука тоже будет язвить – но меньше.

Наверное, любое сильное чувство ты можешь испытывать только один раз в жизни – самый первый. Все остальные разы – уже клоны, повторения.

Мы с бабушкой вернемся из Сочи на теплоходе «Грузия», и дед будет встречать нас на Каботажке, помахивая с пристани снятой с головы соломенной шляпой…

…Сейчас, четверть века спустя после гибели «Нахимова», на морвокзале в Новороссийске царит запустенье. Хоть и стоит здесь на вечном приколе военное судно, и там, внутри, теплится какая-то жизнь, да и гуляющие иногда встречаются, и рыбаки – но с прежней радостной Каботажкой нынешнюю не сравнить.

Галстук пионерский

Для кого-то пионерский галстук – «треугольный лоскут с длиной основания 100 см, красно-оранжевого цвета, изготовленный, как правило, из ацетатного шелка» (Википедия). Для кого-то он – частица красного знамени, три конца которого символизируют единство партии, комсомола и пионерии. Для меня, как и для многих людей моего поколения, – он часть нашей прежней жизни, та часть, с которой мы расстались без жалости, но с ностальгией.

Итак, в пионеры меня с первого захода не приняли. Вот была трагедия!

Меня наказали, и за дело. Началось с того, что учительница впаяла мне двойку.

Учительница была уже другая. Ее звали Любовь Петровна, а фамилию я, как и в случае с Музой Петровной из Авиагородка, забыл.

В третий класс я пошел в Новороссийске у бабушки с дедом. Учился – хорошо. Даже четверку считал для себя плохой отметкой. А тут вдруг случилась двойка! Главное, не помню сейчас, за что конкретно я получил «банан». Однако тогда мне совершенно точно казалось, что оценка – несправедлива. Думаю, и впрямь училка в тот раз погорячилась.

Чувство обиды оказалось настолько сильным, что после уроков я двойку в своем дневнике стер. Мною не расчет, как сейчас помню, двигал. И не страх наказания. Я не хотел замести следы преступления. Я хотел вымарать из дневника (и из своего сердца!) незаслуженное оскорбление. Поэтому неуд я удалял вгорячах, причем КЛЮЧОМ НА БЕЧЕВКЕ. В результате в дневнике образовалась практически сквозная дыра.

Разумеется, дырка в моем дневнике не осталась не замеченной и учительницей, и бабушкой с дедушкой. При том, что булечка только удивленно развела руками: «Зачем ты это сделал, Сереженька?» Однако со стороны педагога последовала суровая кара – причем по идеологической линии.

Идеологические кары вообще были самым распространенным рычагом воздействия на советских граждан. Если не самым действенным. Но это я понял гораздо позже. Угроза лишения партбилета дамокловым мечом висела над каждым членом передового отряда советского народа. Проработка на партсобрании с последующими санкциями являлась для советских тружеников гораздо более грозной, чем экономические санкции.

Вот и в моем случае учительница взялась воздействовать на меня идеологией.

Близилась годовщина основания комсомола (если кто не помнит, 29 октября), и лучших октябрят в тот день должны были в торжественной обстановке принять в пионеры. Разумеется, я числился среди передовиков, тем паче что в них ходила половина класса. И вот меня в наказание (не за «пару», а за надругательство над дневником) из классного авангарда вывели.

В итоге приняли в ряды пионерской организации позже, уже после осенних каникул, без всякой торжественности. Приняли в компании троечников, хулиганов и всяких умственно отсталых, которые не могли даже вызубрить наизусть клятву пионеров Советского Союза.

Таким образом, свой пионерский галстук я по-настоящему выстрадал. Тем слаще было ощущать его на своей шее.

Наша средняя школа номер пять, довольно древнее здание, стояла на самом берегу моря. Теперь школа снесена, и на ее месте построен многоэтажный жилой дом – как положено, элитный, с окнами на воду.

Мы могли наблюдать в окно класса, как входят в бухту пароходы и «кометы», как снуют рейсовые катера и буксиры. Парты, стоявшие в ряду у окна, считались привилегированными. Оттуда особо мечтательных или провинившихся пересаживали в наказание во второй и даже третий ряд, далекий от морского пейзажа. Как пересадили и меня после надругательства над дневником.

Но я сейчас не об этом. Наш дом, в котором жили дедушка с бабушкой, тоже находился на берегу бухты, однако довольно далеко от школы (особенно если мерить город по моим тогдашним меркам восьмилетнего). От школы до дома идти было прилично. Наверное, минут двадцать. Притом мне запрещалось ходить напрямик по набережной и по Каботажке. Набережная и Каботажка считались не слишком подходящим местом для самостоятельных прогулок. Причину взрослые объясняли просто: «Там же по вечерам полно шпаны, вдруг кто-нибудь к тебе пристанет?!»

Предосторожность, возможно, нелишняя – а может, и нет, если учесть, что занимались мы даже не во вторую, а в третью смену.

Сейчас я понимаю, что третья смена означала, что в Советском Союзе в те времена, когда дети провозглашались «единственным привилегированным классом», элементарно не хватало школьных зданий.

Ракет хватало, а школ нет.

Итак, начинали мы заниматься где-то в полчетвертого – четыре дня, а заканчивали в полвосьмого – восемь вечера. И в ноябре я шел домой уже в кромешной темноте.

При этом, надо заметить, никого из нашего класса – девяти-десятилетних – взрослые после занятий не встречали. Стыдно было, если тебя вдруг после уроков родители или бабушки караулят. Мы сами против этого протестовали.

Хотя практически каждому из нас до дома было шагать и шагать. Новороссийск в те времена был трех-, максимум четырехэтажным. Чаще жили в частном секторе – в своих домах с палисадником. Поэтому по горам вокруг Цемесской бухты город расползался далеко и высоко.

Я жил, считай, в самом центре – однако даже мне требовалось пройти больше километра, семь или восемь кварталов. И никто из моих друзей-однокашников рядом со мной не проживал. Поэтому и на уроки, и после них я всегда ходил один.

Итак, ноябрьским вечером мне на шею наконец повязали выстраданный мною пионерский галстук. Потом последовала торжественная линейка (далеко не такая торжественная, какой удостоились наши чистые, незапятнанные однокашники 29 октября). И, наконец, нас распустили по домам.

Я выбежал из школы. С моря начинал задувать норд-ост (как звали свирепый здешний ветер местные) или бора (как красиво именовали его в литературе и обычно обзывали приезжие). Курточку я, разумеется, распахнул настежь. Я хотел, чтобы все видели: идет не малыш-октябренок, а взрослый мальчик, пионер.

Красиво повязанный галстук словно грел мне шею своими алыми языками. Гордость переполняла душу.

Однако на темных улицах практически не встречалось прохожих. Вечер, девятый час, норд-ост: кому охота шляться по городу! Я никому не мог продемонстрировать ни свой новый галстук, ни свой изменившийся статус. Вот расстройство!

И тогда я решил слегка изменить маршрут. Нет, я не стал выходить на Каботажку, которой меня основательно запугали, где от холодного ветра, того и гляди, пришлось бы куртешку застегивать. Я пошел другим курсом: еще дальше от моря, на параллельную, главную улицу города, под названием Советов. Здесь покуда работали магазины – центральный продовольственный и табачная лавка. Народ спешил на девятичасовой сеанс в кинотеатр «Москва», шумел ресторан «Бригантина». Кроме того, тут кое-где даже горели фонари, и галстук мой был более заметен.

Насколько же (я думаю сейчас) мы не меняемся с возрастом! Прошло сорок лет, у меня выросли и даже начали седеть усы, а я все туда же. Недавно жена мне подарила фирменный шарф. И фирма-то не бог весть какая, но с узнаваемым торговым знаком. И что вы думаете? В первый день я этот шарф надел даже не с пальто, а с пиджаком, как тренер Моуриньо, и повязал его так, чтобы торговая марка обязательно смотрела наружу, и отслеживал выражения лиц встречных: заметили ли они, в каком шарфе я иду?! Что за мальчишество!

Тогда, сорок лет назад, я свернул на улицу Советов и гордо понес себя с пионерским галстуком – мимо горпарка и планетария, госбанка, главного гастронома, ресторана «Бригантина». Здесь прохожие попадались – но, увы! Никто не обращал внимания на мою обнову! С таким же успехом я мог бы идти и в застегнутой куртке. Или не идти вовсе. Меня вообще мало кто замечал.

И только одна-единственная женщина средних лет (то есть, я думаю сейчас, было ей около тридцати) приметила мой галстук – и меня. И, кажется, поняла, какая радость царит у меня на душе, и улыбнулась мне приветливо, снисходительно, по-доброму. Может, думаю я сейчас, у нее у самой сын или дочка только что вступили в пионеры? И так же, как я, горделиво топали домой? А может, она оказалась учительницей из другой школы или пионервожатой? Или просто проницательным, приметливым и приветливым человеком?

Ко времени, когда пошло в школу мое поколение, советские бонзы уже наконец вырастили новую общность людей – советский народ. В восемь лет я был правовернейшим молодым коммунаром. Я верил в окончательное торжество

коммунизма и с восторгом читал в любимейшей книжке «Страна багровых туч» про будущий ССКР – Союз Советских Коммунистических Республик. Я был уверен, что рано или поздно все страны совершат революцию и присоединятся к нашему самому счастливому в мире государству, и обижался и недоумевал, почему до сих пор не произошли еще восстания в Англии, Франции и других странах капитала. Я верил в дружбу народов и гордился тем, что у меня в друзьях ходят мальчики других наций и народностей, населяющих могучий, единый Советский Союз. Например, я сидел за одной партой с мальчиком с греческой фамилией, и если б у нас в Новороссийске нашелся хотя бы один паренек-негр, я бы хотел и с ним подружиться. Я ненавидел США, потому что там правили бал капитализм и военщина и вешали негров. И еще я боялся ядерной войны, которую хотят развязать американские империалисты и реваншисты из Западной Германии. Разрывающийся ядерный гриб был самой страшной страшилкой моего детства, намного ужаснее «Вия» и кладбища. И венчалась моя вера верой во Владимира Ильича Ленина, самого мудрого и человечного человека из когда-либо живших на земле.

Надо же было столь бездарно строить так называемую идеологическую работу (думаю я сейчас), что за те шесть лет, когда я пребывал в рядах пионерской организации, при полном непротивлении и посильной поддержке семьи, безо всяких «вражьих голосов» и текстов Солженицына мои взгляды юного коммуниста поблекли, истончились, а то и вовсе поменялись. Надо ж было так воспитывать нас (я имею в виду школу и пионерскую организацию, телевизор и газеты) и, главное, организовывать нашу жизнь, что за это время от большинства коммунарских идеалов не осталось и следа.

И как в итоге поменялось отношение к галстукам! К концу пребывания в рядах пионерии он меня, как и моих сверстников, стал откровенно тяготить. Мы, восьмиклассники, их носили – потому что нельзя было не носить: учителя придирались, ругались, когда являлись на занятия без них, выгоняли из класса.

«Дома забыл?! Иди, давай, неси! Или с родителями приходи!»

В каком же виде алые тряпочки болтались тогда на наших шеях – особенно у мальчишек! Жеваные, кое-где драные, частенько исписанные чернилами. Считалось особым шиком на оборотной стороне кумачового галстука накалякать шариковой ручкой названия поп-групп (естественно, на английском) или даже английские ругательства.

«If you want to fuck for funny, fuck yourself and save your money!»

Идея на глазах в своем вещественном выражении рвалась, ветшала, тяготила.

Многие, отсидев уроки, срывали обрыдшую тряпку с шеи и совали ее в карманы, портфели, подальше с глаз долой.

То, что шесть лет назад было свидетельством гордой взрослости, стало уликой. Уликой детства.

Может (кто знает!), мы бы по-другому относились к галстуку, если бы нам кто-то рассказал о его происхождении. Но о подлинном генезисе «частицы алого знамени» мало кто задумывался. Из детей – уж точно. А если об этом знал кто-то взрослый – вряд ли б он стал открывать глаза юным пионерам. Этак и до мордовской зоны можно было договориться – за антисоветскую агитацию.

Но сейчас-то об этом можно рассказать. Ведь пионерский галстук восходит к скаутскому. Ну а у скаутов он откуда?

Разумеется, от ковбоев.

Ковбоям шейный платок служил для целей сугубо практических: чтоб в шею не дуло ветром, когда скачешь на мустанге, чтоб не летела пыль прерий за шиворот, чтоб можно было утереть пот и перевязать рану. Кроме того, платок использовался, чтобы прикрыть низ лица, когда грабишь банк или почтовый дилижанс.

Про ковбоев мы тогда знали. В семидесятые годы вестерны в СССР сильно популярными не были (их почти не показывали). Однако кое-что ковбойское и нам перепало.

Добралось до советских экранов «Золото Маккены» с Грегори Пеком и Омаром Шарифом (закадровую песню даже перевели на русский, а пел ее под начальные титры Валерий Ободзинский).

В московском «Иллюзионе» на Котельнической набережной можно было посмотреть старые «Дилижанс» или «Великолепную семерку», гэдээровская

студия «ДЕФА» снимала фильмы про индейцев с Гойко Митичем.

Кое-где в провинции крутили пародийного чехословацкого «Лимонадного Джо».

Даже отечественные кинематографисты стали сочинять свой ответ вестернам: соцреалистические истерны. Иные фильмы получались прекрасными. Во всяком случае, наши юные души разбереживали: «Достояние республики», например. Или «Седьмая пуля». Или «Неуловимые» и их «Новые приключения».

Думаю, скажи нам тогда, что пионерский галстук – прямой родственник (можно сказать, внучок по бойскаутской линии) ковбойскому шейному платку, мы, может, к нему (галстуку) совсем по-иному относились бы. О, а если б нам еще внушили, что он – двоюродный брат прочим ковбойским аксессуарам! Таким как шляпа с загнутыми полями, длинноствольный револьвер и – главное! – ДЖИНСЫ! Тут, глядишь, и советские восьмиклашки невольно прониклись бы к своим шейным украшениям уважением.

Другое дело, что человек, который предложил бы в семидесятые годы столь нестандартный идеологический ход – связать пионергалстук с ковбоями, – явно бы плохо кончил: принудительной психушкой как минимум. К таким смелым ассоциациям закостеневшая советская идеологическая машина способна совершенно не была. Вот и рухнула вместе со своими галстуками, значками и партбилетами.

Ныне наследницей пионергалстука (по утилитарной линии) стала бандана. Ноль идеологии, сплошная практичность. Цвет и узор банданы ничего не значат. Она может быть красной, серой, голубой и в крапинку, с рисунком, узором и без оных. Ее можно носить на шее, голове, руке, ноге и использовать для тысячи разных надобностей.

Прямо противоположным бандане полюсом являлась «частичка нашего знамени», что носили мы на своих юных шеях.

Ничего полезного, голый символ.

Обнаженная идеология, невкусная, как чистая соль.

Поэтому обретали мы галстуки с вожделением.

Расставались – без сожаления.

И следующий свой знак отличия – комсомольский билет – уже получали безо всякого трепета.

Мяч кожаный

В футбольном мяче ныне уже нет ни грамма кожи. Его делают из полиэстера и поливинилхлорида.

Но как же мы в детстве мечтали о кожаном мяче! Он до сих пор мерещится мне: дольки из желтоватой кожи, сшитые суровыми нитками, плотная кожаная шнуровка – он звенит, накачанный, и летит в ворота как снаряд. Мечта!

Ни у меня, ни у кого-либо из друзей, где бы я ни жил и ни играл, настоящего футбольного мяча не было. Я даже не знал, откуда берутся такие мячи. В магазинах спорттоваров, если спросить, продавщицы только усмехались и смотрели как на дебила: «Не бывает!»

Пока суд да дело, прогресс не стоял на месте, и на смену мечте о кожаном мяче со шнуровкой (так и не воплотившейся) пришла иная, более совершенная: мяч так называемый ниппельный, у которого вместо шнуровки и соска от камеры имелось лишь узкое отверстие для ниппеля. А потом появился (не у нас, а где-то далеко, на фотографиях и экранах телевизоров) футбольный снаряд, который мы все называли «олимпийский» – тоже ниппельный и черно-белый, пятнистый, как леопард. Его изготовили под нужды телевидения, бывшего тогда почти исключительно черно-белым. Появился мячик на чемпионате мира в Мексике.

Однако сколько бы мы ни грезили о настоящем фирменном футбольном мяче, я его даже ни разу не пнул. А потом и грезить о нем перестал. И ведь что тут скажешь, кроме банального: все хорошо в свое время. Сейчас полно замечательнейших мячей, самых что ни на есть фирменных, от немецкой компании-производителя, «олимпийских», которыми только что играли на

чемпионате Европы, – буквально везде навалом, да и цена смешная, не более тысячи рублей. А покупать – совершенно не хочется, и я прохожу мимо них абсолютно равнодушно.

Помимо мяча, имелась у моего поколения и еще одна мечта, связанная с футболом, более дерзкая. Фантазию эту активно пропагандировали детские газеты и журналы (а их было много, газета «Пионерская правда», например, и журнал «Пионер»). Они внушали, что к любому советскому мальчику, играющему во дворе, может однажды подойти дядя тренер и сказать: «Парень, мне понравилось, как ты играешь, приходи в нашу секцию (или нашу команду) на стадион, будем с тобой работать». Многие игроки команд мастеров и даже сборной СССР рассказывали в интервью, что они таким образом в большой спорт попали. По стране широко шагало движение «Кожаный мяч»: детские команды разных школ и дворов встречались между собой на первенство Советского Союза. И детские тренеры, говорят, так и рыскали по дворам и спортплощадкам, отыскивая самородков.

В Новороссийске мы играли в футбол за домом на поляне в одни ворота – ими служили два толстых тополя, а противоположных просто не было.

В Ростове, куда я позже переехал к родителям, мы гоняли резиновый мяч по асфальтовой площадке возле нашего подъезда, а воротами служили два кирпича. Позже, уже в Москве, при нашей современной школе, наконец появился пыльный стадион с настоящими воротами, а также хоккейная коробка. И всюду я лелеял мечту (временами она подступала очень явственно), что однажды остановится рядом с нами, игроками, детский тренер, понаблюдает и скажет мне и, допустим, другу Диме Р-ву: «Ты и ты, приходите, пожалуйста, на тренировку». А потом победа в «Кожаном мяче», юниорская команда, после молодежная, затем команда мастеров, и, как венец, сборная СССР.

Притом надо признаться, что футбольными талантами я не обладал: в нападении не показывал супердриблинга или обводки, мячом не умел чеканить (жонглировать), в то время как некоторые мальчишки влегкую набивали по двадцать – двадцать пять раз, я подкидывал мяч, не роняя, от силы раза четыре. Если в игре требовалось защищаться – я был сноровист и безогляден, но не непроходим. Ставили в ворота – играл самоотверженно, но ни ростом, ни прыгучестью не выделялся.

Однако, несмотря на то что футбольные таланты у меня отсутствовали и умом я понимал, что великий игрок из меня не выйдет, мечта о тренере, который найдет меня, самородка, жила во мне очень долго, аж до старших курсов института. Мы гоняли мяч, здоровенные дылды, во дворе общаги – а мне временами казалось, тогда уже совершенно беспочвенно, что вот-вот подойдет дядя и пригласит играть в команде мастеров. Да что там институт! Уже когда я стал учить футболу своего сына и мы с ним и его сверстниками возились на импровизированном футбольном поле, мне однажды привиделось, как подходит ко мне (именно ко мне, а не к сыну!) дяденька и говорит: «Мальчик, мне понравилось, как ты играешь, не согласишься ли тренироваться в команде мастеров?» Короче, бред!

Впрочем, я все чаще убеждаюсь, что если чего-то сильно хотеть, то в принципе мечта осуществляется – однако как-то кривовато, странно, с изгибом: не тогда, когда ты хочешь и не так, как хочешь. Однажды (я уже учился в Москве, в седьмом классе) к нам и впрямь пришел дяденька тренер – но не на игровую площадку, а прямо на урок. Рассказал, что приглашает всех парней в секцию классической борьбы. Дяденька очень ярко живописал, какими мы, мальчишки, скоро станем сильными, закаленными и бодрыми духом, если будем заниматься «классикой». Классическая борьба (сейчас она называется греко-римской), говорил он, это древнейший вид единоборств, еще греки ею занимались, а потом сам Поддубный, и тот, кто ею овладеет, тому никакой противник будет не страшен, ни на улице, ни в подворотне, нигде. Записываться можно прямо сейчас, без каких-либо ограничений.

В итоге записались все шестнадцать мальчишек, за исключением двух Андреев: толстого и раскоординированного С-на по кличке Слон и рафинированного К-ва, которого из всех спортплощадок можно было представить себе только на теннисной. Однако затем, довольно быстро, энтузиазм стал угасать. На первую тренировку мы, одноклассники, отправились уже вдесятером, на втором занятии нас осталось пятеро, а постоянно посещать стали только двое: я и мой друг Дима Р-ов.

Впрочем, это было гораздо позже, и уже не про футбол.

Случилась со мной и другая, очень советская история из той же серии: шел мимо дяденька и заметил мой талант. Произошла она, когда я в Ростове учился в четвертом классе. Но она тоже не про футбол.

Как и во всех своих местах жительства, в городе на Дону я записался в детскую библиотеку и был там, видимо, на неплохом счету, несмотря на все мои попытки увильнуть от книг из серии «Рассказы о Ленине» и «Пионеры-герои» и выбрать Жюля Верна или Стругацких. И вот в один прекрасный день библиотекарша предложила мне прийти на местное телевидение, где планировалась встреча известного детского писателя Аматуни, автора фантастической саги «Гаяна», с читателями, пионерами и школьниками.

– На телевидение?! – переспросил я.

– Ну да. Ты, Сережа, так много читаешь, так умно о книгах рассуждаешь, что мы решили выдвинуть тебя. Я считаю, что ты просто обязан поучаствовать во встрече пионеров с детским писателем, нашим земляком, и выступить там.

Так судьба послала мне уже второй знак о будущей стезе (первый – когда я блистал в роли дворового рассказчика). «Книги, книги, – словно бы вопило Провидение мне в самое ухо, – ты должен быть связан с книгами, с разными историями!» Однако в тот момент от одной только мысли о том, что мне придется прийти на телевидение и даже, может быть, там выступать, меня бросило одновременно в жар и холод, а потом охватил панический ужас, почти началась медвежья болезнь, и я пролепетал:

– Ой, а я уезжаю. К бабушке и дедушке, в Новороссийск. Сейчас ведь каникулы.

И я сбежал. Я малодушно смылся! И потом до самого конца каникул обходил библиотеку стороной: только бы меня не приметили, не схватили, не потащили выступать на телевидение!

Я все больше убеждаюсь: судьба и впрямь, похоже, человека сама выбирает и посылает ему сигналы. Надо только иметь смелость этому выбору фортуны хотя бы не противиться (не говоря уже о том, чтобы самому себя подпихивать в нужном направлении).

Моя мама Екатерина Игоревна, кстати, была и остается сторонницей активной жизненной позиции. Она всю жизнь любила говаривать, что под лежачий камень вода не течет (и жизнь свою строила согласно этой поговорке). Поэтому я сам, как достойный сын своей матери, однажды, когда учился в Новороссийске, перестал ждать милости от мифического и баснословного тренера – и записался

на городском стадионе «Черноморец» в секцию футбола. Брали всех желающих, а потом кинули в толпу один мячик (тот самый, вожделенный, кожаный, «олимпийский»): гоняйте, мол. Мы разделились на две команды, чуть не по тридцать человек в каждой, и стали играть на огромном взрослом поле с гигантскими воротами. Пробегали в пыли минут сорок – по мячику я даже раза не ударил.

А когда пришли на следующее занятие – из нас выделили человек пятнадцать и отправили играть. Остальные, сказали, будут запасными. Я вместе с другими просидел на скамейке без движения часа полтора. То же самое повторилось и во второй раз, а на третий я на стадион «Черноморец» не поехал.

И окончательно накрылась моя карьера футболиста уже в Москве. Одно спортивное общество (мне почему-то кажется, что называлось оно «Трудовые резервы») объявило набор в секцию футбола. Меня привел отец – в столицу мы только что переехали, и мне пока запрещалось передвигаться по городу самостоятельно. Нас опять разделили на две команды – только дело было не на поле, а в крытом спортзале. Меня поставили в защиту, и за пятнадцать минут я совершил всего два осмысленных игровых действия, а именно: дважды снес крайнего нападающего противника, который раз за разом прорывался к нашим воротам. В секцию меня не взяли, а по расстроенному лицу папы я понял, что моя игра ему не понравилась: впрочем, а что там могло понравиться?!

Так что моя любовь к футболу оказалась в итоге неразделенной: я его любил, а он меня – нет. И, как всем спортсменам-неудачникам, мне за кожаный мяч оставалось только болеть. Спортсмен-заочник, как подтрунивал надо мной отец.

Болеть за футбол я начал, шутка ли сказать, в тысяча девятьсот семидесятом году. Я до сих пор помню едва ли не весь состав бразильской сборной, выигравшей тогда чемпионат мира в Мексике: Пеле, Тостао, Ривелино, Жаирзиньо… (Цитирую, можете поверить, по памяти.) Наших игроков, в смысле сборную СССР, тоже помню, но хуже.

Однако все матчи советской команды я на том чемпионате смотрел. Обстоятельства оказались тогда, как утверждали наши комментаторы (то же самое они, впрочем, доказывали на всех последующих чемпионатах), против наших ребят: и разница во времени, и высокогорье, и жара. Организаторы чемпионата в угоду телевизионным компаниям, транслирующим первенство на Европу, а также рекламодателям, начинали матчи в двенадцать дня по местному

времени, в самый солнцепек. Не щадили нас и судьи, а противники прибегали к самым подлым уловкам, вроде ударов шипами по ногам. Тогда все эти обстоятельства были мне внове, я всё принимал за чистую монету и искренне негодовал.

Но, несмотря на происки судей и противников, советская команда вышла в четвертьфинал. Я в ту пору, разумеется, не знал, что это достижение для нашей команды окажется вершинным, потом мы только дважды за сорок с лишним лет сможем повторить его (в восемьдесят втором и восемьдесят шестом). Однако в семидесятом мне даже полуфинала оказалось бы мало. Я мечтал о финале, где, допускал, наша сборная может уступить великой бразильской команде. Но только им, и больше никому.

И вот в четвертьфинале наша сборная должна была встретиться с командой Уругвая. Матч этот транслировался поздно. И мне следовало сперва договориться с бабушкой и дедушкой, что меня допустят к просмотру. Хоть и были каникулы, но старички строго следили за моим режимом, краеугольными камнями которого было: правильное питание и достаточный сон.

В тот день (я проверил сегодня по Интернету, матч СССР – Уругвай состоялся 14 июня 1970 года) я решил, что меня непременно допустят до позднего вечернего просмотра (с возможным дополнительным временем), если я хорошенько предварительно высплюсь.

Поэтому в день четвертьфинала я проснулся, как обычно, около девяти, однако вставать не спешил. Я устроился поудобнее и постарался задремать снова. Не получилось. Я совершил еще одну попытку. Однако сна не было ни в одном глазу. Что ж, раз не получалось заснуть по-настоящему, я решил схитрить – выспаться понарошку. И повернулся на другой бок, делая вид, что сплю.

Квартира бабушки и дедушки была роскошной (по моим тогдашним представлениям). И я даже спал в отдельной от них комнате, которая в светлое время суток исполняла роль гостиной. Я стал лежа тихонечко мечтать о том о сем: о сегодняшнем матче в Мексике, где наши победят, о полуфинале с бразильцами. Потом фантазии плавно перенеслись к полетам к звездам, иным планетам и мирам. Вскоре я услышал, как в комнату тихонько входит бабушка, похоже, удивленная тем, что я так долго не встаю. Я притаился и замер, притворяясь спящим. Бабушка тихонечко постояла у кровати, вглядываясь мне в лицо. Я честно зажмурился и не моргал. Постояв пару минут, она вышла, и потом

я услышал, как они о чем-то говорят в кухне с дедушкой, но не расслышал о чем. Наверное, они удивляются, почему я так разоспался.

Довольный тем, что меня не разоблачили, я выждал еще пять минут и вышел из гостиной вроде бы заспанный.

Я до сих пор не знаю (и не узнаю уже никогда), раскусила бабушка мою уловку или нет. Я думаю, конечно, что да: подумаешь, сложность, определить спит или нет десятилетний мальчик. Но виду она не подала и честно разрешила мне смотреть футбол, даже с дополнительным возможным временем.

Однако счастья мне та игра не принесла. Играли наши медленно, видно было, что им и впрямь очень жарко, и они двигаются из последних сил. А потом, в дополнительное время, наш игрок Бышовец забил мяч, а судья не засчитал, сославшись на офсайд. А потом мяч (тот самый, «олимпийский») вышел за пределы поля, и это все видели, и наши остановились, а уругвайцы воспользовались заминкой и забили нечестный гол. Уругвай победил со счетом один – ноль и вышел в полуфинал. Федерация футбола СССР подала протест, но грязные политиканы из ФИФА не удосужились пойти нам навстречу и назначить переигровку матча.

С тех пор я больше сорока лет слежу за футболом и успехами нашей сборной – сначала советской, потом СНГ, а после российской. Радости мне эти ребята, последовательно сменяющие друг друга, доставляли, честно скажу, немного. Разве что на первенствах Европы – в восемьдесят восьмом, когда дошли до финала, и в две тыщи восьмом, обыграв в четвертьфинале голландцев. Да в восемьдесят шестом, когда в первой встрече на чемпионате мира раздраконили венгров шесть – ноль. А больше – увы. А мы, имею в виду себя и других ненормальных болельщиков, всё смотрим турниры и всё надеемся…

В том же семидесятом году, когда познал вкус футбола, я впервые в жизни приехал в Москву. Мы прилетели из Ростова на самолете, потом погрузились на автобус «Икарус» (таких я раньше не видывал!) и поехали в город. Москва потрясла меня своей огромностью и величием. И когда автобус подъехал по Калининскому проспекту (ныне Новоарбатскому) к библиотеке Ленина и я увидел Боровицкую башню и кусочек красной стены с зубцами, я заорал на весь автобус, не в силах сдерживать эйфорию: «Смотрите, Кремль!» Пассажиры в креслах заулыбались, а мои мама и папа смутились.

В той поездке мы, разумеется, прошли по всем положенным местам притяжения провинциалов: Кремль, Красная площадь, Александровский сад, зоопарк. В гостинице «Россия» посидели на вертящихся табуретах в баре, и мама с папой пили коктейли, а я – через соломинку вишневый сок со льдом. Я впервые тогда был в баре и впервые пробовал напиток со льдом. Мне понравилось. Мы поднимались на Останкинскую телебашню и обедали в ресторане «Седьмое небо».

А еще мы с папой отправились на футбол.

Я первый раз в жизни увидел матч живьем. Я не помню, конечно, точно, кто играл, но Интернет подсказывает почти наверняка: то был матч «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев), состоявшийся третьего июля семидесятого года.

Стадион произвел на меня ошеломительное впечатление своими размерами и количеством зрителей. С самого начала я был неприятно удивлен тем, что на трибунах никто игру не комментирует. Я-то был убежден, что голос комментатора звучит непосредственно на стадионе!

Я быстро на жесткой лавке освоился и решил, что мне надо определиться, за кого болеть. Так как команды, за которую я болел – по правилам землячества, а также по месту службы отца: спортивного клуба армии из Ростова-на-Дону – на поле не наблюдалось, я решил, что мне ближе не надменные москвичи, а все-таки, ввиду своей украинской половинки, киевляне. Решив так, я вдруг, неожиданно даже и для самого себя, во весь голос выкрикнул: «Бей Москву!»

Остается только удивляться мелкотравчатости торсиды тех лет. Я не сомневаюсь, что нынче малахольного мальчика, решившего гаркнуть на столичной трибуне нечто подобное, сожрут немедленно и даже костей не оставят ни от него, ни от его сопровождающих. Но в те времена, когда самое сильное выражение из тех, что неслось с трибун, было: «Судью на мыло!» – на меня, конечно, начали оглядываться: что это, мол, за ненормальный пацан объявился? Отец, конечно, покраснел и толкнул меня в бок: не надо, мол, таких фраз на столичных трибунах выкрикивать – но и только. Довольно скоро инцидент был исчерпан и забыт.

Только сейчас, кучу лет спустя, я с помощью всезнайки-Сети вспоминаю, что матч тот завершился со счетом один ноль в пользу динамовцев московских,

которые и заняли по итогам тогдашнего чемпионата второе место.

А я так и остался телевизионным болельщиком, посещающим стадион лишь в исключительных, крайне редких случаях.

Квартирная лотерея

Домом своим ростовским я гордился. Он был не простой, а кооперативный. Это означало, что моим маме и папе не дали квартиру – как давали обычным очередникам. Мои родители квартиру – купили! За свои деньги! Тогда это было странно, диковинно: ничего себе! Жилье можно не получить, а купить – как хлеб или колбасу!

Дом наш – кооперативный! – был длинной панельной пятиэтажкой. Его никто тогда не называл ни «хрущевкой», ни тем более «хрущобой». Никита Сергеевич Хрущев уже был снят со своего поста Председателя Совета министров СССР, но еще жив. Народное мнение о бывшем лидере страны в те времена пребывало в районе насмешливой неприязни. Разговоры вслух о былом властителе – с хулой, а тем паче хвалой – не поощрялись. По радио, телевидению и в газетах о нем не говорили вообще. Тем более никому не пришло бы в голову называть в честь развенчанного кумира что бы то ни было. Особенно тип дома.

И вообще, неологизм этот образован явно по аналогии с трущобой – но какая, к аллаху, трущоба! Ведь квартирой (подобной той, что получили мы) гордились. Представляете, жилье не в военном городке, а в городе, в новом доме! Отдельное! Свое!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25933723&lfrom=201227127) на

ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Родион Яковлевич Малиновский (10 (22) ноября 1898, Одесса – 31 марта 1967, Москва) – советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза, с 1957 по 1967 год – министр обороны СССР.

2

Первое название популярной передачи «Голубой огонек».

3

Каботаж (франц. cabotage) – судоходство между портами одной страны.

Купить: https://tellnovel.com/sergey-litvinov/lavka-zabytyh-illyuziy-sbornik-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити